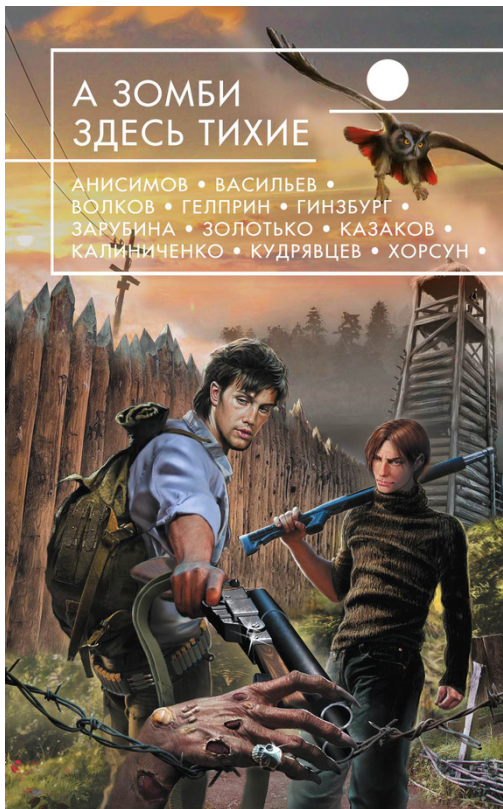


А ЗОМБИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ

АНИСИМОВ • ВАСИЛЬЕВ •
ВОЛКОВ • ГЕЛПРИН • ГИНЗБУРГ •
ЗАРУБИНА • ЗОЛОТЬКО • КАЗАКОВ •
КАЛИНИЧЕНКО • КУДРЯВЦЕВ • ХОРСУН •



Владимир Венгловский
Ирина Скидневская
Вячеслав Бакулин
Дарья Зарубина
Кристина Каримова
Дмитрий Львович Казаков
Леонид Викторович Кудрявцев
Вячеслав Лазурин
Наталья Михайловна Караванова
Николай Калиниченко
Андрей Скоробогатов
Сергей Юрьевич Волков
Владимир Аренев
Владимир Яценко
Юстина Южная
Александр К. Золотко
Игорь Вереснев
Майкл Гелприн
Юлия Черных
Сергей Анисимов
Мария Гинзбург
Евгений Михайлович Константинов
Максим Дмитриевич Хорсун
Юлия Мальт
Владимир Николаевич Васильев
Максим Тихомиров
Сергей Игнатьев
Александра Давыдова
Игорь Минаков
Ника Батхен
А зомби здесь тихие (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5972661
А зомби здесь тихие : фантастические повести и рассказы. : Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-65090-3*

Аннотация

Цивилизация людей рухнула под собственной тяжестью...
Небольшие человеческие общины борются за выживание, окруженные полчищами живых мертвецов. Правда, неизвестно, кто хуже – обыкновенные бандиты, беспощадные

как зомби, или малоподвижные зомби, промышленяющие разбоем. Но общинник Пашка не спрашивает, кто лезет через ограду. Ведь ружье его заряжено картечью...

Теперь, Обглоданный, ты не просто зомбак, теперь ты матрос второй степени разложения. Хочешь служить Мертвечеству? Ступай на камбуз дредноута «Уроборос», готовь жратву на всю команду, но помни: зомби не люди, они человечину не едят...

Молодой зоотехник Леша Жарков приезжает в богатый колхоз. Юноша готов засучив рукава строить светлое будущее, но есть одна проблема – процветание колхоза зависит от труда живых мертвецов...

Война миров – зомби против людей – началась!

Владимир Васильев, Леонид Кудрявцев, Дмитрий Казаков, Сергей Волков, Максим Хорсун и другие в уникальном проекте издательства «Эксмо»!

Содержание

Владимир Васильев	5
Николай Калиниченко	22
Сергей Анисимов	52
Мария Гинзбург	78
1	78
2	87
3	101
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Владимир Васильев и другие А зомби здесь тихие (сборник)

Владимир Васильев А зомби здесь тихие

Ночь была темная, глаз коли. Пашка первое время всматривался в стылую темень за оградой, но потом бросил – все равно ничего не разглядишь. Положился на слух. И правильно сделал. В целом было тихо, только звякал цепью Барбос, возился в будке своей, даже вздыхал, словно человек. Ну, в лесу еще периодически орала какая-то неугомонная птица, наверное сова. Это были знакомые звуки, привычные и естественные, поэтому Пашка откинулся на кучу тряпья, служащую на вышке и креслом, и топчанчиком, и, прикрыв глаза, слушал. Заснуть он не боялся – перед ночным дежурством отменно выспался и на вышку влез с совершенно ясной головой.

Сразу после полуночи звезды заволокло тучами, а луны сегодня и так не видать было – новолуние. Вышка, собранная из цельных стволов, венчалась дощатым настилом и четырехскатной островерхой крышей над ним. Борта по периметру настила были плетеные, из лозы в палец толщиной. Почему – бог весть, наверное, общинники сэкономили доски. Ограду вокруг посада они изладили двойную – первый ряд из заостренных сверху бревен, второй, почти вплотную к бревнам – из жердей, тоже заостренных. Жерди вкапывали так, что если кто и умудрится взобраться на ограду, то прыгнуть внутрь не сможет – непременно наколется. Наверное, дед Федя придумал, больше некому. Но чтобы мертвяк взобрался на ограду – ни единого случая пока не было. Пашка вообще сомневался, что они в состоянии это сделать. Они и ходят-то так, что без слез не взглянешь, как будто хромают сразу на обе ноги. Теоретически, даже ребенок от мертвяка должен убежать, но экспериментов таких никто, конечно же, не ставил, потому что мертвяки появлялись только ночью, а кто ж выпустит детей за ограду ночью?

Дураков нет.

Пашка много размышлял над этим – почему люди так боятся мертвяков?

Вид у них, конечно, тот еще: ни дать ни взять – покойник, внезапно оживший, выкопавшийся из могилы и отправившийся бродить без особой цели и смысла по округе. Костей, правда, не видно, да и плоть не гниющая на них, а скорее ссохшаяся, как у мумий из исторического музея – если вы, конечно, помните, что такое музей.

Пашка-то еще помнил; дед Федя по возрасту тоже должен был помнить, но он всю жизнь прожил в деревне, где никаких музеев, понятное дело, не водилось. А вот нынешняя пацанва, уже жадно заглядывающаяся на Пашкино ружье, ничего такого помнить не могла, потому что все они выросли уже тут, в общине.

Так вот о мертвяках: они нередко бродили ночами около человеческого жилья и, если оно не охранялось, – вполне могли и внутрь вломиться. Но жилье обычно охранялось, и мертвяков просто расстреливали на подступах. Тем не менее они каждую ночь ковыляли к обитаемым местам, будто ночные бабочки на свет. Что-то их притягивало. И отогнать их никогда не удавалось, только расстрелять.

Впрочем, никто особо не размышлял о причинах, влекущих мертвяков к живым людям. Люди теперь вообще мало размышляли. Мертвяков – расстреливали, землю – возделывали, за жизнь – боролись... Некогда размышлять при таком раскладе.

Иное дело – Пашка. Во-первых, осколок прежней формации, сохранивший память, сообразительность и интерес к окружающему миру, даром что тот стал ну оч-чень негостеприимным. Во-вторых, ходок, то есть не общинник, всю жизнь проводящий за оградой и на окрестных полях, а бродяга, который и в ближние городки способен наведаться, и в Город, и даже в Столицу, куда Пашка добирался уже трижды. У него есть время для размышлений – на переходах, к примеру. Это общинники пашут от восхода до заката, голову некогда поднять, не то что о мертвяках размышлять.

Даже эта дружественная община Пашку не приняла – кормили (не даром, разумеется), позволяли переночевать (что, впрочем, не спасало от ночных дежурств на вышке), да и вообще относились в меру приветливо. Но своим так и не признали, хотя именно к ним первым Пашка вышел вскоре после смуты.

Община была необычная даже по нынешним временам. Тут было мало, катастрофически мало взрослых мужчин, да и те сплошь рохли или тихони безрукие. Генератор, во всяком случае, пока Пашка не оживил, так и стоял у них в сарае мертвый. Почти месяц после смуты обходились без света, а тогда ведь ночами самый атас происходил. Как выжили – бог весть...

Зато было много женщин одного возраста, примерно ровесниц Пашки, и практически отсутствовали женщины старше или моложе (не считая родившихся уже после смуты и успевших сильно подрасти девчонок). Пашка поначалу удивлялся, а потом выяснилось, что почти вся община – это бывшие пэтэушницы, из училища при ткацкой фабрике, если вы, конечно, помните, что такое училища и фабрики. Как вывезли весь курс той злосчастной осенью то ли на картошку, то ли еще на какие овощи, так и пересидели они смуту в глуши. Общинная маман, пани Лидия, работала тогда директрисой и, естественно, в конце концов все возглавила. Баба Марта была поварихой, Иванна – медсестрой, дед Федя – шофером, возившим в глушь продукты и почту, еще три женщины постарше были мастерами. Мужичок-тихоня по имени Викентий в училище преподавал эстетику, потому, видимо, и в генераторах разбирался не лучше девок. Остальной народ прибился позже, по пальцам можно пересчитать. В целом плюс от такого контингента имелся – несостоявшиеся ткачихи учиться в Город приехали в основном из областных деревень, а стало быть, на земле работать умели и подобной работы не чурались. Пашку, вон, при мысли о какой-нибудь прополке в дрожь до сих пор бросало, а эти были привычны, поэтому община с самого начала не голодала. Однако имелся у пани Лидии какой-то феминистический бзик в мозговых извилинах, и мужчин в общину она упорно не допускала, за редчайшими исключениями. Девоч своих, что ли, она до сих пор блюла да берегла? Так все равно половина уже сподобилась родить, и многие даже не единожды.

Вот еще, кстати, вопрос: как все они умудрились выжить практически без мужиков и оружия? Пашка пока не находил этому разумного ответа. Но факт оставался фактом, редкие по нынешним временам бандиты обходили общину стороной, а излишек продуктов подопечным пани Лидии меняли на необходимую мануфактуру незлобивые ходоки вроде Пашки.

В общем, община была островком спокойствия и относительной безопасности, находилась в далекой глуши, лихие люди ее пока не трогали, а мертвяков наострились отстреливать даже эстеты. И даже девчонки, давно уже превратившиеся в женщин под сорок.

Четыре дня назад Пашка привез давние заказы – в основном тряпки и посуду, но еще, к примеру, запасные ремни к генератору, который давным-давно приспособили к восьмиметровому ветряку, поскольку вкопанная на задах цистерна с соляжкой еще в первый год опустела, а таскать топливо на себе в такую даль – та еще работенка. С ветряком Пашка удачно придумал, да и оказия тогда случилась, до развилки на в ту пору еще сравнительно проезжем тракте довели дальномеры, а от развилки забрал дед Федя на лошади с телегой. Помнится, аккумуляторную сборку тогда и лошадь еле дотащила, зато теперь красота: община со светом, даже если неделю нет ветра.

Хотя тут и один-два безветренных дня редкость, не то что неделя. А ночи в основном тихие, да.

Как сегодняшняя.

В лесу снова заорала сова и вдруг на половине вопля осеклась, словно ее пристукнули.

Пашка невольно подобрался.

Мертвяков даже звери и птицы сторонятся, это всякий знает.

И точно, явились, правда, ждать пришлось долго, минут двадцать. Но Пашка был готов, только гадал, откуда покажутся – со стороны практически заросшей дороги к развилке или прямо из леса.

Показались из леса. Надо понимать, напугали сову, и напрямик к забору. Трое. Ковыляют, словно испортившиеся заводные игрушки-роботы, если вы, конечно, помните, что такое роботы и что такое заводные игрушки...

Ковыляют, кстати, не абы куда – точнехонько к обитым жестью воротам. Пашка до сих пор не мог понять, что это? Соображалка? Нет, разума мертвяки точно лишались, иначе не перли бы дуrom прямо на стволы, как они это всегда делают. Первое время находились сумасшедшие, которые пытались с мертвяками заговорить. Бесполезно, разумеется. Но почему потерявшие разум и жизнь человеческие тела, тем не менее, передвигаются осмысленно – по дорогам, тропам? Вот сейчас они, к бабке не ходи, не через бурелом перли, хоть сову и напугали. Наверняка по какой-нибудь тропке доковыляли. Гуськом. И цель у них всегда одна: человеческое жилье. Причем не долбят они в стены или глухие заборы. Всегда находят калитки и двери и стремятся именно туда. Может, разум у них засыпает, но память остается? Память, инстинкты?

Дьявол их разберет!

Барбос, зараза трусливая, затаился у себя в будке, даже цепью бряцать перестал. Хоть бы гавкнул, дармоед! Только и горазд, что бегających по двору ребятишек за щиколотки хватать.

Пашка не спеша потянулся к ружью, переломил его, убедился, что заряжено (хотя и так знал: заряжено, сам же перед тем, как влезть на вышку, и зарядил), поправил пояс-патронташ, уместил ствол поверх плетеного борта и принялся ждать.

Заряжено было картечью.

* * *

Когда солнце нехотя выползло из-за щетинистой кромки леса, Пашка позволил себе задремать. В этом не было ничего постыдного или крамольного: фактически вахта заканчивалась с рассветом, а рассвело уже давным-давно, наверное с час назад. В посадке, на задах, кто-то уже гремел ведрами. Повизгивали оголодавшие свинки, лошадь деда Федя тоже всхрапывала. В общем, община просыпалась.

Подремать удалось с полчаса, не больше. Очнулся Пашка от деликатного стука по опоре вышки.

– Эй, ходок! – вибрирующим тенорком окликнул снизу дед Федя. – Слазь уже! Пойдем глянem, в кого ты там ночью пулял.

– Известно в кого, – сонно буркнул Пашка, потянулся, поднял крышку люка и привычно нашарил подошвой сапога верхнюю ступеньку.

Внизу он перевесил ружье поудобнее, на одно плечо, чтобы в случае чего ловчее было изготoвиться к стрельбе. А то когда оно за спиной по-походному – пока ремень через голову стащишь, какой-нибудь особо прыткий волчара уже полноги отъест.

– Много приперлоси? – поинтересовался дед, зевнул и почесал заросшую редкой бородашкой щеку.

– Трое, – вздохнул Пашка. – Лесом шли, там еще сова орала, а потом заткнулась, будто пристукнули ее. Я и насторожился. Во-он оттуда!

– Знаю я ту сову, – вздохнул дед Федя горестно. – Четырех курят уже утащила, зараза. Вечерами охотится, когда еще светло. Может, и правда пристукнули ее? Хорошо тогда. Хоть какая от мертвяков польза, кроме вреда.

Тем временем на крылечко, поеживаясь от утренней прохлады, выскользнул Викентий – тот самый очкастый эстет. Очки у него были как у киношного революционера – махонькие, круглые, в тонкой желтоватой оправе. Если вы, конечно, помните, что такое кино, и соображаете, какая революция имеется в виду. Конкретно эту революцию Пашка помнить никак не мог, поскольку состоялась она за пятьдесят с лишком лет до его рождения, но фильмов о ней в детстве успел посмотреть много. Зато помнил четыре других, одна другой гаже и омерзительнее.

– Ну че встал, давай сюда, ворота запрешь! – гаркнул на Викентия дед.

Эстет торопливо ссыпался с крыльца и поспешил к воротам, перед которыми уже с полминуты переминались Пашка с дедом Федей. У деда в руке, словно по волшебству, материализовался обрез – практически из такого же ружья, как у Пашки, только без приклада. Совсем. Длиннствол у деда тоже имелся, но его дед обычно возил на телеге, а под руками чаще предпочитал держать именно обрез. С характерным звуком сдвинулся тяжеленный засов. Потом залязгали запоры-фиксаторы – такие ворота, пожалуй, и танком не вдруг своротишь. Помните, что такое танк? То-то же, танк один раз увидишь – вовек не забудешь, особенно если сам в окопе, в руке граната ходуном ходит, а оно, железное и несокрушимое, прет прямо на тебя. И пушкой еще целится... Обгадиться недолго.

С трудом сдвинув с места одну из створок, дед выглянул в образовавшуюся щель, повертел головой, сплюнул на землю и протиснулся наружу весь целиком. Пашка – за ним.

Снаружи они первым делом налегли на створку и вернули ее в исходное положение – мало ли что, ворота на то и справлены, чтобы отделять общину и посад от недоброго мира.

– Закрывай, – велел дед Викентию, и тот послушно грюкнул засовом.

Остальное трогать пока не имело смысла – если засов закрыт и кто-то начнет ломиться, запоры сто раз успеешь накинуть и зафиксировать. А Пашка с дедом Федей теоретически ненадолго вышли, чего клацать туда-сюда?

– Говоришь, там? – деловито справился дед, вглядываясь в неширокий луг между забором и лесом, где обычно косили траву на зиму скотине.

– Там, там, – подтвердил Пашка. – Да вон первый валяется, видно же. Чего издалека пулять, я их поближе подпустил.

Оно и верно: картечью чем ближе (до разумных, конечно же, пределов), тем надежнее.

Первому мертвяку начисто оторвало левую руку вместе с ключицей и снесло голову. Плюс колено было переломлено чуть не в обратную сторону. Таких повреждений даже мертвяки не выдерживают, скисают.

Если считать по порядку стрельбы, этот был третьим, последним. Пока Пашка с двумя другими разбирался, третий успел проковылять метров на двадцать дальше остальных.

Двоим другим тоже изрядно досталось, одного даже пополам разорвало в области талии.

Дед брезгливо поглядел на останки, на ползающих по ним мух, потом с отвращением харкнул на траву:

– Тьфу ты, погань какая! Никогда не привыкну!

А вот Пашка, напротив, заинтересовался. Подошел поближе, сапогом перевернул оторванный торс спиной вниз, грудью вверх. Вгляделся в сморщенное, иссохшее лицо.

И озадаченно присвистнул.

– Что такое? – моментально насторожился дед Федя, даже обрез поднял.

Пашка зачем-то вытер подошву сапога о траву, хотя все, что с мертвяками происходило, от гниения совершенно точно было очень далеко, а потому вряд ли сапог мог испачкаться. Но вот захотелось почему-то очиститься от прикосновения к останкам.

– Да понимаешь ли... – пояснил Пашка. – Кажется, я его знаю. Вернее, знал.

– Иди ты! – изумился дед. – Знал? И че это за фрукт?

– Это Селиван, – вздохнул Пашка. – Вон, шрам через всю щеку. И перстень на пальце, не спутаешь.

– Ёшкин кот! – Дед Федя дернул было рукой, словно хотел перекреститься, но в последний момент передумал.

Селиван несколько месяцев назад сколотил и возглавил шайку таких же отмороzków, каким был сам, и намеревался хорошо погулять по ближайшим окрестностям Города. Для начала. А финишировать, как многие, собирался в Столице, богатым и уважаемым человеком. Явился он откуда-то издалека, где, по слухам, и смуты-то особой не случилось, потому бандитам было не разгуляться. Окрестные общины жили как на иголках.

Кого-то люди Селивана вроде бы даже успели грабануть, какую-то случайную группу палаточников. У Сенькина озера. Но достоверно об этом случае Пашка ничего не знал, только слухи слышал. А слухи обычно такое живописуют, мертвяк в гробу перевернется от ужаса, еще до того, как восстать.

– Нас Гришка Сущик предупреждал, – вздохнул дед. – Мол, могут лихие люди пожаловать, Селивановы. Теперь, стало быть, не пожалуют...

– Ну, почему? – без особой радости возразил Пашка. – Омертвели Селиван да еще двое. А было их восемь, говорят.

– Раз эти омертвели, небось и остальные тож, – беспечно отмахнулся дед Федя. – Всегда так. Не бывает, чтобы кто-то один. Или все, или никто.

В словах деда имелся известный резон, однако никакой гарантии, что бандиты всегда держались вместе, конечно же, не было. Мало ли, разошлись, чтобы потом встретиться. И одна группа омертвела. Не обязательно же и другая тоже омертвеет?

То-то и оно.

Деду Феде, видимо, надоело таращиться на останки, и он неожиданно предложил:

– Пойдем, может, в лес, а? Сову ту сволочную подстрелим? А?

– Да где ты ее найдешь, – поморщился Пашка. – Ну ее в пень, сову твою, дед! Хочешь – сам ищи, сам стреляй. А мне уходить сегодня. Ща до обеда посплю и пойду.

Дед Федя протяжно вздохнул, но перечить не стал. Поглядел напоследок на все, что осталось от мертвяков, плюнул в сердцах еще разок и направился за Пашкой. К воротам.

* * *

Ушел Пашка, как и рассчитывал, после полудня. Даже с Вероникой попрощался. На сеновале. Сердобольный дед Федя покарнул, чтоб мегера Лидия не застукала. Вероника потом разревелась, как обычно.

Дед Федя порывался провести Пашку до тракта, но Пашка отговорил: возвращаться-то ему в одиночку, а годы у деда уже не те. И видеть стал хуже, и реакция притупилась. Дед грустно вздохнул, но согласился. И Пашка пошел один.

Обнялся с дедом у ворот, церемонно поклонился вышедшей на крылечко Лидии, пожал руки Викентию и Сереже и выскользнул за ограду.

Заросшая дорога уводила в лес. Пашка с торбой за плечами и ружьем на груди экономно вышагивал по правой колее, изредка перепрыгивая через лужи в рытвинах. Дорога с каждым годом зарастала все сильнее и сильнее, даже периодические выезды деда Феди с топором дела не слишком меняли – настырная зелень перла из земли после каждого дождя,

и казалось, что чем тщательнее вырубашь молодые побеги, тем активнее они восстанавливаются на этом же месте. На самом глухом участке, где и лес был погуще, и к дороге прижимался вплотную, да и сама дорога делала крутой зигзаг, так, что видимость сокращалась метров до двадцати, Пашка почувствовал легкую тревогу.

Подобные уколы-предчувствия периодически случались с ним, правда, обычно не так близко к обжитым местам. Объяснения предчувствиям Пашка не видел, но был уверен, что оно есть и что оно вполне рациональное, обусловленное материальными причинами без малейших намеков на мистику или потусторонность. То ли звуки какие-то, почти неслышимые, доносятся и подсознание их впитывает, то ли через почву какие-то неощутимые дрожания организм воспринимает... Что-то вроде этого. В походах все чувства обостряются, в том числе и пресловутое шестое.

Пашка взял ружье поудобнее и переместился на левую колею, чтобы в зигзаг войти по большому закруглению, а не по малому – хоть немного, да обзор больше. И ствол в ту сторону направил, ненавязчиво эдак.

Однако никого Пашка не разглядел, ни за первым поворотом, ни за вторым. И среди деревьев, насколько хватало обзора, никто не прятался. А вскоре дорога вынырнула из леса в чистое поле, засеянное какими-то турнепсами. Пашка знал, что ими только скотину кормят, сами общинники их не едят.

Вдалеке уже и тракт просматривался. Тревога практически отпустила; по крайней мере притупилась. На открытом пространстве всегда чувствуешь себя спокойнее – если, конечно, ничего плохого на горизонте не видеть.

Но все-таки не зря шестое чувство кольнуло Пашку: когда развилка была уже хорошо видна, он понял, что у покосившегося ржавого указателя кто-то сидит. Отдыхает, наверное.

Человек был один, так что особо беспокоиться не следовало, хотя несколько его приятелей могли залечь в засаду по ту сторону тракта.

Там небольшой кювет, Пашка прекрасно помнил, при желании спрятаться можно. Но тут уж как повезет. Да и не представлял Пашка такой уж лакомой цели: ценностей у него нет (ружье разве что), в плен для выкупа его не возьмешь, поскольку не общинник, никто и не подумает платить.

Вскоре человек на развилке заметил Пашку и приветственно взмахнул рукой. Пашка успокоился, но не до конца. Жизнь приучила его к разнообразным сюрпризам, далеко не всегда приятным, поэтому он никогда не расслаблялся. Даже ночуя в общинах.

Однако на этот раз можно было и расслабиться: подойдя ближе, Пашка сидящего узнал. Витька Шелест, тоже ходок. Можно даже сказать – приятель.

– Привет, Пафнунтий! – осклабился Витька, когда он подошел.

Пашку вообще-то звали Павлом, а не Пафнунтием, но Витька любил называть его именно так. Почему – фиг его знает. С давних пор как-то так повелось.

– Здорово! – Пашка пожал протянутую снизу вверх руку и уселся рядом с Витькой. – Куда, откуда?

– Тебя ищу, – сообщил Витька. – Сказали, ты к Лидии в общину подался, товар понес.

– Таки да, две ночи у них отдыхал. Правда, во вторую Лидия дежурить заставила. Потому сегодня только после обеда двинул.

– Хорошо, что я тебя перехватил, – вздохнул Витька. – Не люблю я эту ведьму. Вечно так на тебя смотрит, словно ты сюда явился всех девок ее перетрахать – и только. Шизанутая она.

– Шизанутая, – согласился Витька. – Но платит честно. А зачем ищешь-то?

Витька нахмурился.

– Говорят, Селиван со своими уродами куда-то в эти края лыжи навострил.

– Ага, донавострялся, – хмыкнул Пашка не без злорадства. – Больше не навострит.

- Что такое? – насторожился Шелест.
- Омертвел Селиван. Я его нынешней ночью и отоварил из обеих стволов. Пополам разорвало! Ну, и еще двоих с ним.
- Иди ты? – прошептал Витька с непонятым восхищением. – Гляди, как быстро!!! Я даже не ожидал.
- Чего не ожидал?
- Что так быстро омертвеют.
- Пашка озадаченно воззрился на Шелеста.
- В смысле?
- В смысле – не думал, что так быстро омертвеют, – непонятно объяснил Витька теми же словами, словно их повторение могло чем-нибудь помочь.
- Думал, это дольше происходит, хотел как раз понаблюдать. Не успел, значит...
- Ничего не понимаю, – пробормотал Пашка. – Ты знал, что ли, что они должны омертветь?
- Ну, не то чтобы знал... – вздохнул Шелест хитро. – Догадывался только.
- Но откуда, черти тебя побери? – изумился Пашка совершенно искренно.
- Рожа Витькина стала еще хитрее.
- Да есть у меня одна теория... Последний год из головы не идет. Проверяю.
- Сгораю от нетерпения, – буркнул Пашка. – Колись давай.
- Вообще-то, Пашка покривил душой: любопытство к затее Шелеста он действительно испытывал, но чтобы сгорать от нетерпения – этого не было. Он знал еще слишком мало, чтобы сгорать.
- Расскажу, – пообещал Шелест, вставая. – Как только Селивана покажешь, так сразу и расскажу.
- Да что там показывать? – удивился Пашка в очередной раз. – Мертвяк как мертвяк... пополам разорванный.
- Руки целы? – деловито уточнил Витька. – Мне перстень нужен. Без перстня никак.
- Перстень на месте, – заверил Пашка. – Я видел. Слушай, Шелест, если мы к общине вернемся, я сегодня никуда уже не успею. Что мне, еще сутки там куковать?
- Ничего, покукуешь, – хмыкнул Витька. – Пошли, пошли, это, между прочим, и в твоих интересах тоже.
- А почему я об этом ничего не знаю? – спросил Пашка с иронией.
- Тупой потому что. – Шелест ухмыльнулся и легонько пнул все еще сидящего спиной к указателю Пашку. – Вставай давай!
- Пашка нехотя поднялся на ноги. Он прекрасно знал: если приятель что-либо втемаяшил себе в голову, переубедить его невозможно и перечить ему не рекомендуется.
- «Хрен с ним, – подумал Пашка обреченно. – Вернемся. Зато Вероника обрадуется».

* * *

Стащив перстень с отрубленного пальца Селивана, Шелест тут же потерял всякий интерес к останкам. Больше всего Пашку поразил тот факт, что усекновение мертвяцкого мизинца Шелест проделал только после того, как сам натянул тонкие лабораторные перчатки, если вы, конечно, помните, что такое лаборатории. Перчатки были упакованы в запаянный вакуумный пакет, Пашка таких лет пятнадцать, наверное, не видел. Мало того, перстень Витька тоже снимал не руками, а пинцетом, вынутым из точно такого же вакуумного пакета, только поменьше размерами. И перстень упаковал опять же в пакет с пластиковой застежкой, надо понимать, не менее стерильный. От всего этого Пашка натурально офонарел, поскольку не подозревал, что приятель-ходок все еще занимается подобными вещами.

Когда-то он работал лаборантом в питерском институте особо чистых веществ и препаратов – за дословность Пашка сейчас уже не поручился бы, но назывался институт как-то похоже. С учетом сегодняшнего дня, когда даже образованные люди изрядно одичали, Шелест тянул уже не на лаборанта, а на крупного ученого, не иначе, о чем Пашка не преминул с ехидцей сообщить. Витька в ответ состроил рожу. Это могло означать только одно: он действительно занимается чем-то научным, что само по себе уже было бомбой. Казалось, люди давно смирились с новым средневековьем и окончательно потеряли веру в возврат к цивилизации.

Получается – не так все?

Витька поднял пакет с добычей на уровень глаз и некоторое время внимательно рассматривал перстень сквозь прозрачный пластик упаковки.

– Не хочешь взглянуть? – произнес он, не оборачиваясь.

Пашка подошел и навис над его плечом.

– Ну и на что тут глядеть? – поинтересовался он сварливо.

– На надпись. Внутри ободка – надпись. Почти как на колечке царя Соломона.

– На колечке царя Соломона внутри было написано «...и это пройдет», – проворчал Пашка. – А тут хрень какая-то.

– Ты внимательней приглядишься.

Пашка прищурился – годы брали свое, и вблизи он стал видеть существенно хуже, чем в молодости. Тем не менее он нашел позицию, при которой сумел прочесть буквы на внутреннем ободке перстня. Их было пять.

«СМУТА».

– Что за черт? – озадаченно протянул он.

– Там еще точки между буквами, – невинно подсказал Шелест.

«С.М.У.Т.А.»

Ну и что это может значить?

Потом Пашку осенило:

– Это сокращение? Аббревиатура?

– Разумеется. – Шелест кривовато усмехнулся. – Сыворотка модального управления торможением агрессии.

– Ни хера не понял, – признался Пашка грустно.

– Долго рассказывать. Собственно, я сделал, что хотел. Сейчас двину в сторону Города, у шишкарей заночую. Если хочешь, айда вместе, по дороге и расскажу, в чем тут дело.

Пашка невольно оглянулся в сторону посада за бревенчатой оградой. На вышке маячил Сережа и кто-то с ним еще, не разглядеть кто.

«Нет уж, – подумал он решительно. – Ушел так ушел!»

– К шишкарям, говоришь? – вздохнул он пару секунд спустя. – Опять ведь упоят до полусмерти бормотухой своей вонючей...

– А ты прям так сопротивляешься всегда, так сопротивляешься! – ехидно поддел Шелест.

– Ладно, пошли, – махнул рукой Пашка. – Чего не совершишь из научного любопытства...

Его очень подмывало еще разок обернуться к вышке и, может быть, даже помахать рукой, но прощаться дважды он как-то не привык.

– Может, через лес пойдем? – задумчиво предложил Шелест. – Чего петлять?

– В лесу сова, – усмехнулся Пашка. – Страшно!

– Какая сова? – озадаченно переспросил приятель.

– Деда Феди любимая сова. – Тут Пашка уже в голос заржал. – Я бы даже сказал, имен-ная!

– Да ну тебя...

– Ладно, не серчай. Если честно, неохота мне через лес. Оттуда мертвяки к посадку вышли. Ну его... Лучше людскими тропами, чем мертвяцкими.

– Тоже верно, – кивнул Шелест. – Хотя я недавно мертвяцкими ходил, и как видишь – ничего, цел.

– Ты лучше про смуту колись, – проворчал Пашка. – А то все намеками да экивоками. Чего, в городе кто-то умудрился мозги не растерять?

Организоваться?

– Не совсем в городе, – поправил Шелест. – В Столице. Оттуда не так давно гонцы пожаловали. Дядю Гришу искали. И нашли. Ну и меня тоже мобилизовали, когда узнали, где до смуты трудился.

– Неудивительно, что мобилизовали... – Пашка никак не мог остановиться, ворчал и ворчал. – Я когда увидел, как ты самогон из пробирки пьешь, сразу понял – чокнутый яйцеголовый. Все из стаканов, а он из пробирки!

– Привычка! – хохотнул Витька. – Да и удобнее, просто не все понимают.

– Слушай, но вообще я поражен, – признался Пашка. – Двадцать лет! Двадцать лет в говне и дикости – и вдруг перчатки, пакетики вакуумные... Я уже и забыл, как это все выглядит!

– Ничего, руки все помнят, как оказалось. – Шелест на ходу пожал плечами. – Мне эта дикость уже во где. – Он выразительно рубанул ребром ладони по кадыку. – В цивилизацию хочу. Под горячий душ с хлорированной водой. Чтоб телевизор и в нем футбол. Я даже на отраву из «Макдоналдса» согласен, но не дольше трех дней! Задолбало уже все доморощенное. Жрать невозможно, соли мало, перца вообще нет. Лекарств хрен достанешь, люди от чихадохнут. У шишкарей, вон, недавно парня двадцатилетнего похоронили – аппендицит схватил. То есть это уже потом поняли, что аппендицит, когда кузьминский доктор приехал. Раньше его за три дня на ноги поставили бы. А теперь? Ай...

Витька выразительно взмахнул рукой, отчего помповуха у него на груди резко дернулась туда-сюда.

– Я когда узнал, что в Столице не все одичали и что умные люди сумели организовать, веришь, аж подпрыгнул от радости.

– Можно я тоже подпрыгну? – сказал Пашка и действительно подскочил, заодно удачно форсировав лужу в колее. – Слушай, – спросил он Шелеста. – А зачем ты мне все это рассказываешь? Я так понимаю, ребята из Столицы вряд ли одобряют лишнюю рекламу своей деятельности.

– Мне прямым текстом сказано подтягивать внятных людей, – объяснил Витька. – Ты хоть формально и неуч, но ведь и не дурень дремучий. Да и ходок неплохой. Такие нам нужны. Я вообще хочу тебя в напарники сосватать – поодиночке шляться по диким местам не совсем правильно. Пойдешь?

Пашка передернул плечами:

– Ты хоть подробнее расскажи... Что за люди, чего добиваются. Должен же я знать, кому служу?

– Люди как люди... Я даже некоторых заочно знал в старые времена, много публиковались. Теперь вот и лично познакомился. Короче, незадолго до смуты разрабатывался в России один проектик любопытный. Как водится, в погоне за счастьем человеческим. Да только власти наши разлюбезные, ясен перец, решили воспользоваться им по-своему. Ну и внедрились кое-где. И тут же грянуло. Дали бы лет пять-семь на доводку – может, и обошлось бы. А так – сам видишь, в каком мире живем.

– А попонятней нельзя? – угрюмо спросил Пашка. – Что за проектик?

– Управление агрессией. Снижение напряженности в социуме. Пытались на это влиять, начали с футбольных фанатов. И в итоге что-то пошло не так. Вместо того чтобы луп-

цевать друг друга, фанаты внезапно договорились, подтянули еще много кого и пошли гроить власть да ментов. Ну, ты сам должен помнить. Штатными методами, на которые так надеялись, управлять толпой не получилось, а джинн тем временем из бутылки выскочил и отправился гулять. Полыхнуло по всей Евразии. Результат налицо: цивилизации больше нет, Европа в руинах, Россия, как обычно, в жопе, и даже китайцы до сих пор не могут справиться со своей китайской смутой. А все оттого, что какому-то чинуше захотелось набрать политического весу и была отдана команда ученым. Преждевременная команда.

– А перстни тут при чем? – поинтересовался Пашка.

– Перстни – это приборы-эффекторы. Они всегда оказываются у разнообразных вожаков-пассионариев. По идее, они должны анализировать ферментную картину в организме такого вожака и регулировать его стремление бить, крушить и разрушать. И еще – подчиняться определенным командам, неосознанно, на уровне инстинктов и подсознания. Жалко, что ты не биохимик, я бы попытался объяснить механизм. Получается, что перстень – это как бы эпицентр инфекции и постепенно эта инфекция должна была распространиться на тысячи и тысячи людей. И она действительно распространилась, только эти тысячи людей и не подумали подчиняться каким-либо командам. Они просто разгромили все, до чего дотянулись, а потом ушли туда, где еще оставалось хоть что-нибудь неразгромленное. Неинфицированные – в том числе и мы с тобой – остались выживать на руинах. Вот и вся история.

– А теперь-то они чего хотят? Ученые эти?

– Собрать перстни и понять, что же на самом деле произошло. А потом, когда поймут, искать выход. Тем более что в наших краях ситуация вообще обернулась непредсказуемо.

– Ты о чем?

– О мертвяках. В пределах нашей области и нескольких соседних инфицированные люди мертвеют. Такого нигде больше нет, только у нас. Заметил, что в последние года два-три бандитов практически не стало? То есть, по слухам, они где-то всегда есть. Но как-то на дорогах перестали встречаться. И на общины нападать тоже перестали.

– Кстати, да, – оживился Пашка. – Я действительно уже и не помню, когда стрелял в кого-нибудь, помимо мертвяков.

– То-то и оно! Живых бандитов – нету, а мертвяков полно. Какой напрашивается вывод?

– Ты хочешь сказать, что все бандиты в наших краях неизбежно мертвеют? – недоверчиво протянул Пашка. – Но с чего?

– Все, не все, – не знаю. И с чего – тоже не знаю, хотя и догадываюсь. Вот перстень донесем, изучим, тогда и поймем. По крайней мере, я на это надеюсь.

Пашка некоторое время размышлял.

– В принципе, что-то в твоих словах есть, – протянул он задумчиво. – Я не слышал, чтобы кто-нибудь из общинников омертвел. И потом, среди мертвяков женщин тоже нет, хотя болтают, будто позапрошлой зимой к вольницким одна такая вышла. Но, с другой стороны, и некая бандитская атаманша в тех местах какое-то время проявлялась...

– Вот видишь, – отозвался Шелест. – Укладывается!

– Ладно, допустим. Но если в наши края забредут бандиты, у которых нет вожака с перстнем? Неинфицированные, как ты говоришь?

– А поздно, перстни по большому счету уже не при делах. Чужие бандиты инфицируются у нас, где-то на местности. Может, от мертвяков, кстати. Просто с перстнем это происходит практически моментально, за сутки-двое, если только случай с Селиваном не какая-нибудь странная аномалия.

– Но почему не инфицируемся, к примеру, мы с тобой? Чем мы отличаемся от бандитов, если разобраться? Стволы есть. И в дело мы их пускаем без малейших колебаний.

– На это есть несколько теорий, – кивнул Витька, явно готовый к подобному вопросу. – Самая очевидная состоит вот в чем: у нас с тобой нет намерений кого-нибудь ограбить и

чего-нибудь отнять. Ходоки по большей части торговцы, а не грабители. В этом-то вся и причина. Как только в человеке зреет готовность к худому делу, он начинает мертветь.

Шелест покосился на Пашку и ухмыльнулся:

– Что, страшно?

– А ты не свистишь? – недоверчиво протянул тот. – Как могут мысли влиять на заражение?

– Еще как могут, – уверенно заявил Витька. – Эмоциональное состояние человека сводится, в общем-то, ко все той же биохимии. Да хоть про адреналин вспомни, про него в свое время даже школьники знали. Готовность убивать и грабить – из той же оперы, из биохимической.

– Но у нас тоже есть готовность убивать, – заметил Пашка веско.

– Значит, это другая готовность, – нимало не смутившись, парировал Шелест. – Готовность убивать без готовности грабить. Готовность обороняться, а не нападать. Как-то так.

Некоторое время Пашка молчал, обдумывая его слова.

– Сложно все, – вздохнул он наконец.

– Гораздо сложнее, чем ты думаешь. – Витька поправил на груди ружье. – Даже сложнее, чем ожидали те, кто все это придумал.

* * *

У шишкарей ограда была похлипче, чем у пэтэушниц пани Лидии, но тоже о-го-го. Но зато они в случае чего легко могли выставить два десятка прекрасно вооруженных бойцов в оборону. Скорее всего, именно поэтому шишкарки и не слишком заморачивались неприступностью своей крепости. Кто заметно сильнее, все равно эту крепость возьмет, хоть ты изобороняйся весь. А от остальных отобьются и без внушительного забора.

Сейчас крепость выглядела безжизненной. Ни звука не доносилось из-за ограды. Не брехали собаки, не мычала скотина. Не стучали топоры, не визжали пилы, а ведь мастерская у шишкарей была одна из лучших в округе. Не видно было часового на вышке.

А самое главное – ворота были распахнуты настежь. И никого.

– Не нравится мне это, – мрачно заявил Пашка.

– Думаешь, мне нравится? – поморщился Шелест. – Ну что, пойдём? Или не стоит?

– А вдруг им помощь нужна?

– А вдруг там засада?

Пашка насупился. Да, он понимал, что лезть в посад, у которого настежь распахнуты ворота, это безумие. Но иногда ради друзей приходится совершать безумные поступки. Иначе – кому такая дружба нужна?

– Вдвоем туда лезть не стоит, – рассудительно произнес Шелест. – Потянем палочку.

Пашка без слов обломал ближайший кустик.

– Длинная – идет. Короткая – остается, – объявил он и зажал палочки между пальцев.

– Угу, – кивнул Витька.

– Тяни.

Шелест вытащил короткую.

– Значит, так, – Пашка переломил ружье, проверил, заряжено ли. Конечно, заряжено. – Я захожу. Если через пять минут не выйду из ворот и не дам отмашку, значит, засада. Там уж сам решай, уходить или как. Если уйдешь, обиды держать не стану.

– Да чего тут решать. – Шелест поморщился. – Никуда я не уйду. Но к воротам не сунусь, не дождутся. Придумаю чего-нибудь, не бойсь.

Пашка коротко, с придыханием, хекнул, покинул кусты и, не кроясь, пошел к воротам посада.

Он не прошагал еще и половины пути, когда наблюдающему из зарослей Витьке между лопаток уперся вороненый ствол.

– Тихо, – посоветовали ему. – Тихо!

И отобрали помповуху.

Пашка этого, естественно, не увидел. Он, бесшумно ступая, крался к воротам, готовый в любой момент выстрелить и отступить. Но все было на первый взгляд спокойно, и к распахнутой створке он приблизился беспрепятственно. Заглянул.

Некоторый беспорядок на подворье наблюдался – валялось ведро, из которого рассыпалась и раскатилась картошка, кто-то сшиб небольшую поленницу рядом с крылечком. Но убитых, по крайней мере, видно не было, и это Пашку несколько приободрило.

Он прокрался впритирку к створке внутрь, перебежал к стене посада и, перепрыгнув через порушенную поленницу, взбежал на крыльцо.

Дверь посада поддалась без сопротивления, но оглушительно закрипела, так что Пашка от неожиданности вздрогнул. За дверью было сумеречно, он шагнул внутрь и влево, чтобы не маячить на проходе. Хотел постоять в полумраке, чтобы глаза привыкли к темноте.

Не успели привыкнуть.

Пашку хватили по голове чем-то тяжелым и твердым, и он тут же выключился.

На пол осесть ему не позволили, но сам Пашка этого, естественно, не почувствовал.

Очнулся он от страшной ломоты в затылке. Шевельнулся, застонал.

– Наконец-то! – прошептали рядом голосом Витьки Шелеста. – Жив?

– Местами, – пробормотал Пашка.

Он лежал на деревянном полу; под головой обнаружилась какая-то тряпка, при ближайшем ощупывании оказавшаяся курткой Шелеста.

– Как башка? – поинтересовался приятель.

– Будто дубиной отоварили, – поморщился Пашка.

– Да так оно и было, стопудово – сообщил Шелест. – Меня в кустах взяли, едва ты отошел. По башке не били, сразу ствол в спину и привет...

– Проспал?

– Как пацан. – Шелест виновато шмыгнул. – Расслабился...

– Где это мы? В подполе?

– В чулане за кухней.

– А долго я валялся? Сейчас что? День, вечер?

– Сейчас ночь, Пафнутий. Даже, наверное, уже ближе к утру. Точнее не скажу, извини, часы у меня отобрали.

Пашка пошарил вокруг себя. Найти оружие он, конечно же, не надеялся, но вдруг хотя бы торбу заплечную оставили?

Не оставили...

В чулане было темно, глаз коли, ни единого лучика света ниоткуда не пробивалось.

Витька истолковал его шевеление по-своему:

– Вон там, у стены, в полу между досками щель. Если чего, отлить можно. А вот когда по-крупному припечет... Жрать нам в ближайшие дни не светит, хоть в этом смысле хорошо.

– Думаешь, долго нам тут сидеть? – мрачно осведомился Пашка.

– Уверен.

– Значит, покормят... Не идиоты же они. Если сразу не шлепнули, значит, мы им зачем-то нужны. А раз нужны – будут кормить.

– Увы, дружище, – вздохнул Шелест. – Не покормят. У меня отобрали перстень.

Пашка не сразу понял, что это означает. Но потом до него дошло.

– Погоди, погоди... Ты считаешь, что все они омертвеют?

– Думаю, уже начали, – произнес Витька очень уверенно. – Они днем еще шумели и топали, а потом все затихло. Скорее всего, лежат, сохнут. Через пару суток дойдут до кондиции и в ночь бродить станут. А ближайшие люди – это мы. Только на это и надежда.

– Так мы ж без оружия, – свистящим шепотом произнес Пашка. – Как же ж мы?

– Не знаю. Если дверь отопрут – сбивать с ног, пинаться, лягаться, что угодно, но мы должны отсюда вырваться. Мертвяки медлительны, авось прорвемся наружу.

– Так снаружи другие мертвяки...

– Я, пока ты валялся, поразмыслил на этот счет. Надо на вышку взлезть. Если взлезем – от мертвяков даже без оружия отбиться можно, уверен.

– А если омертвели не все? Тогда что?

– Тогда до вышки нам не добраться. Хотя, хер его знает, мертвяков даже уцелевшие бандиты вряд ли станут обнимать-привечать. Не знаю, в общем, пока будем ждать да прислушиваться. И спать только по очереди. Я, кстати, уже прикорнул бы. Ты как, в норме? Не тошнит?

– Вроде нет, – Пашка прислушался к себе. – Башка раскалывается, не без этого, но вроде не тошнит.

– Это хорошо, – вздохнул Шелест. – Лучше без сотрясений. А шишка – фигня, рассосется.

«Тебе бы такую фигню на темя», – подумал Пашка сердито, но в целом без излишнего негатива. Понятно было, что приятель сам по себе ни в чем не виноват. Правда, это он уговорил Пашку идти к шишкарям. Но кто ж знал, что тут гости...

– Ну, чего, – вздохнул Шелест, устранив голову на куртке. – Бди. Спокойной вахты...

* * *

Первая вахта и впрямь выдалась спокойная. В посаде было тихо, как в могиле, а темнота, которая царил в чулане, лишь усиливала впечатление. Бандиты ничем себя не проявляли, ни единым звуком. Пашка успел отлежать себе один бок, потом второй; когда головная боль притупилась и стала привычной – медленно, на ощупь добрался до ближайшей стены и обошел их с Шелестом тюрьму по периметру. Это оказалась непростая задача, потому что в темноте Пашка то и дело наталкивался на какие-то бочки, покрытые рогожами, полати с кадками и банками (хорошо, если консервация, подумал Пашка) и всякие разные иные препятствия, которые тактильно было очень трудно идентифицировать. Он трижды будил Шелеста, на что-нибудь наткнувшись, но, к счастью, ничего не обрушив.

Еды никто им не принес, но раньше, чем голод, начала донимать жажда, и они с отошедшим Витькой предприняли «щупательную экспедицию».

Довольно быстро они обнаружили бочку, от которой соблазнительно пахло квашеной капустой. Она оказалась не закатана, а гнет – здоровенный тяжелый валун – они без особого труда вдвоем вынули. Под мокрой деревянной крышкой и впрямь нашлась капуста, еще не вполне дошедшая, но тем не менее съедобная и, что важно, хорошо вымокшая в рассоле, а потому прекрасно утоляющая жажду. Да и голод частично тоже. В животах сразу забурчало, но выбирать не приходилось.

Когда объелись капустой, принялись щупать дальше и нашли четыре закатанные бочки, две побольше, по пояс примерно и в обхват, две поменьше, бочонки литров, наверное, на восемь-десять, высотой примерно по колено. Пашка нащупал слесарную корзину для инструментов, но она, увы, была пуста, хотя отчетливо пахла смазкой и железом.

Скорее всего, инструмент забрали предусмотрительные тюремщики.

Потом Витька нащупал на стене электропроводку, а несколькими секундами спустя – выключатель.

– Ух ты! – выдохнул он с восторгом. – Пафнутый, жмурься! Вдруг работает?

Выключатель тихо щелкнул. Перед глазами возникла тусклая оранжевая пелена, но узникам она показалась ослепительной.

Потом, когда глаза привыкли, выяснилось, что тлеющая едва в четверть накала лампочка питается от ветхого автомобильного аккумулятора, еле-еле живого, но и этого было достаточно, чтобы осмотреться.

Еще недавно казавшийся огромным чулан съезжился до размеров тесной квадратной комнатухи, примерно пять на пять метров. Потолок нависал над самыми головами – руку протяни, достанешь, но до сих пор ни Пашке, ни Шелесту не приходило в голову тянуться к потолку. Кроме уже нащупанных бочек и консервации на полках, под грязным брезентом у одной из стен обнаружили короткие металлические прутья со следами старой сварки. Лежали они не у самой стены, а чуть в глубь помещения, в полуметре примерно, потому, видно, узники на них до сих пор и не натыкались, а тюремщики почему-то не обратили внимания. Со стальной арматуриной в руках уже не чувствуешь себя совершенно безоружным.

Потом осмотрели дверь. Петли ее оказались старыми и ржавыми, а о запорах сказать ничего было невозможно: они располагались либо снаружи, либо в толще дерева. Скорее снаружи, потому что ничего похожего на замочную скважину дверь не содержала. Сплошное дерево, даже без ручки.

Узники молча переглянулись. Потом Витька без слов положил облюбованный прут на пол, а взял другой, самый тонкий из имеющихся, да еще вдобавок слегка сплюснутый с краев, на манер ломика. Да уж, крупно лопухнулись бандиты, сажая плененных ходоков в чулан с подобным содержимым...

Верхняя петля с громким звоном лопнула, едва Витька с силой налег на импровизированную фомку.

Узники застыли, вслушиваясь в гулкую тишину посада. Но никто не прибежал, не принялся потрясать оружием и сыпать матерными угрозами.

Посад был мертв и, по всей видимости, пуст.

В том смысле, что людей в нем не было.

Нижняя петля выдержала, не лопнула, но ее Витька с мясом и щепами попросту выдрал из косяка.

Вслушались еще раз.

– Надо свет погасить, – шепотом предложил Пашка. – Пусть глаза к темноте привыкнут. В сенях тоже небось темно.

Смысл в этом определенно имелся, поэтому так они и сделали. Минут через десять вновь воцарившаяся в чулане тьма прошептала голосом Витьки:

– Ну что? Начали?

– Давай, – согласился Пашка, сжимая в руках оба прута, свой и приятеля.

С тихим стуком сдвинулась дверь. Образовавшаяся щель стала отчетливо видна – в сенях хозяйничала не полная темень, а всего лишь полумрак.

Шелест взял у Пашка прут и первым выскользнул из чулана.

Перед выходом на крыльцо, на вбитых в стену гвоздях они нашли свои ружья. Свои и еще чьи-то, то ли шишкарей, то ли бандитов. Пашка привычно переломил верную двухстволку – заряжена, патроны знакомые.

Картечь.

Прутья они оставили под «вешалкой» и уже куда более уверенные в собственных силах принялись обшаривать посад.

Бандитов, вернее то, во что они успели превратиться к этому часу, Шелест с Пашкой нашли уже через несколько минут, в горенке. Оказалось их шестеро, и все уже перестали быть людьми, но еще не стали мумиями. Мертвяками. По-видимому, они находились примерно на полпути, потому что кожа сморщилась и пожелтела, но еще не до такой степени, как у полностью омертвевших. У одного, без сомнений, у бывшего главаря, на мизинце левой руки красовался знакомый перстень.

Витька скользнул к столу, заваленному чем попало, в том числе вытряхнутыми из походных торб вещами. Сами торбы валялись тут же, у стола, рядом с пустыми бутылками и жбанами из-под бормотухи.

Запаянные пакеты с перчатками, пинцетами и еще какими-то незнакомыми Пашке инструментами и приспособами никуда не делись, нашлись в общей куче. Витька торопливо натянул перчатки, вооружился пинцетом и принялся стаскивать перстень с полуссохшего пальца будущего мертвяка. Минуты ему вполне хватило.

Потом они торопливо набили торбы уцелевшими пожитками и найденной снедью, снарядились и покинули горенку. Посад они решили на всякий случай обыскать, и правильно сделали: на пустом скотном дворе в дальнем загоне они нашли запертых шишкарей. К сожалению, не всех. В их узилище не нашлось ничего, что помогло бы самостоятельно освободиться, а запоры и двери были куда надежнее, чем в чулане, поскольку в дальнем загоне шишкарки нередко держали молодых бычков, а это на редкость могучие животные – наляжет как следует, мало не покажется.

Шишкарки быстро воспряли духом и разбрелись наводить порядки; Пашку и Шелеста сначала не хотели отпускать, но Шелест оказался непреклонен: сказал, что настолько важную информацию необходимо доставить куда следует как можно скорее. Тот факт, что важную информацию вообще есть куда доставить, сам по себе приободрял не хуже, чем чудесное освобождение из бандитского плена – шишкарки после потери нескольких своих в хороший исход уже не верили.

И Пашка с Шелестом ушли, пообещав вскоре вернуться на щедрую и законную шишкарскую проставу.

По дороге они наспех перекусили у ручья. Пашкина голова все еще болела, но уже не так катастрофически, как сначала. Шелест явно пребывал в хорошем расположении духа, поскольку и из плена вырвались, и шишкарям помогли, и теория его блестяще подтвердилась. С такой добычей можно было показываться к головастым хозяевам, которые давно публиковались, когда сам Витька еще трудился простым лаборантом. А вот Пашка был мрачен и к репликам спутника должного внимания не проявлял, пока тот не остановился, не дернул его за рукав и возмущенно не спросил:

– Да что с тобой, Пафнутий? Спишь на ходу? Или все-таки сотрясение? Радоваться надо – а он мрачный!

– Чему радоваться? – буркнул Пашка.

– Мы живы! Жизнь продолжается! Бандитам кирдык! Мало?

Пашка только вздохнул.

– Если так тупить – долго точно не проживем.

– Ты о чем?

– Да взяли нас как детей, – пояснил Пашка с неохотой. – Скажешь, нет?

– Если б нам не нужно было лезть в посад – хрен бы нас кто взял, – сказал Шелест убежденно. – Знали, на что шли, потому и рискнули. Зато шишкарям помогли.

– А если бы нас всех вместе посадили? – резонно возразил Пашка. – Из загона хрена бы мы выбрались, а ломиков там не держат.

– Да выбрались бы как-нибудь, – легкомысленно отмахнулся Шелест. – Шишкарки в собственном доме от голода не умрут и взаперти навечно не останутся, это я тебе точно говорю.

– Ага, то-то мы их освободили, а не они нас, – саркастически напомнил Пашка.

– Ты пораженец! – заявил Шелест с гневом, больше показным, чем реальным. – Пораженец и пессимист! Так нельзя!

– Я не пессимист. – Пашка пожал плечами. – Я просто не верю в счастливые исходы на пустом месте. Да и вообще... вся твоя теория слишком красива, чтобы быть правдой.

– Это почему еще? – искренне изумился Витька.

– Да потому, что в жизни так не бывает. Никогда. Чтобы хорошим людям было хорошо, а плохим – плохо. Всегда бывает наоборот. Раньше правительство на нашей шее сидело, каталось в свои Куршевель и покупало «Роллс-Ройсы», а мы молча пахали за грошик. Потом урки всякие что хотели, то и творили, а нам оставалось, как крысам, по углам жаться да крохи припрятывать, чтоб с голоду не сдохнуть. И вдруг оказывается, что гады начинают мертветь просто потому, что они гады, а хорошие люди могут не беспокоиться и жить себе по уму, по совести. Бред. Не верю.

– Но почему? Почему не веришь?

– Потому что человек по сути своей жадная и тупая скотина. Хуже шакала. Он никогда не станет жить по совести, если можно прижать и обобрать ближнего, который слабее.

– Мы же живем?

– Мы не в счет, – пробурчал Пашка мрачно. – Мы идеалисты.

– Значит, настало время идеалистам пожить. Извини, Куршевель и «Роллс-Ройс» не обещаю, но, может быть, через некоторое время при ходьбе через лес ружье нужно будет таскать только потому, что волки. От людей ружье станет ненужным.

– Не, – покачал головой Пашка. – В это – точно не верю.

– Да что ты заладил: «не верю, не верю», – Шелест начал злиться всерьез. – Мы не о религии говорим, в конце концов, а о науке. Может, с ее помощью именно сейчас будет достигнута вселенская справедливость и люди обретут потерянный рай?

– Какой рай, мы же не о религии, – напомнил Пашка ехидно.

– Я образно. – Шелест отмахнулся. – Представь: жить останутся только те, кто желает окружающим добра. А мертвякам... мертвяково. Разве плохо?

– Слишком хорошо, чтобы быть правдой, – убежденно сказал Пашка.

– А давай поспорим? – неожиданно предложил Шелест. – Если через три года я тебя где-нибудь встречу и мы оба будем без ружей, значит, я выиграл. И тогда... и тогда ты должен будешь влезть на самую высокую сосну и трижды прокричать оттуда: «Да здравствует потерянный рай!»

Пашка опасливо покосился на приятеля.

– Ну, ты... загнул!

– Что, боишься?

– Нет. Просто помню, что из двух спорщиков один всегда дурак, а второй подлец. А я не хочу быть подлецом – еще омертвею ненароком...

– Ничего, от такой мелочи не мертвеют! Тем более что ты на самом деле желаешь такой правды, просто не веришь в нее, а этим биохимию не подпортишь! Ну так что, спорим?

– А если я выиграю?

– Тогда я что-нибудь сделаю. По твоему желанию.

– Придешь к пани Лидии, – мстительно произнес Пашка, – и назовешь ее старой стервой!

– Согласен! – Шелест с готовностью протянул руку и ворчливо добавил, когда спор был заключен: – Жаль, разбить некому, но мы же люди честные, правда?

Несколько минут они шли молча, перешагивая через лужи и обходя разросшиеся на дороге кусты.

– А еще знаешь, что я тебе скажу? – заметил Шелест, и вид у него был при этом задумчивый. – Путь к любому раю всегда начинается в аду. В нашем аду мы что-то засиделись. Пора бы наверх.

Николай Калиниченко

Дождь над Ельцом

Эта история случилась со мной давно, еще при Советах. Я учился тогда во втором классе, а точнее, готовился перейти в третий. Летние каникулы мне довелось провести в старинном городе Ельце – бабушка хотела показать внука родне.

Скорый поезд отправился из Москвы в полночь, чтобы достичь ранним утром пустынного елецкого перрона. Мы неторопливо спустились на платформу, распрощавшись с веселым пожилым проводником. Тот отвернулся было к другим пассажирам, но вдруг схватил меня за плечо.

– Ну-ка, держи. – И сунул мне в ладошку надорванный оранжевый билет.

– Это зачем? – удивился я.

– На счастье, – подмигнул проводник. – Храни его и не выбрасывай, пока не сядешь в обратный поезд.

Я сунул билет в карман шортиков и поспешил навстречу бабушке, которая с недовольным видом шла ко мне по платформе. Ребенком я был тих и мечтателен, постоянно витал в облаках и часто терялся, за что был неоднократно наказан старшими. В этот раз тоже не обошлось без нравоучений. Я был схвачен за руку и препровожден в здание вокзала. Посреди гулкой мраморной залы нас ожидала тетя Клава. Маленькая, плотненькая, облаченная в строгое черное платье и белую сорочку, она походила на престарелую школьницу. Из скромного туалета выделялась только массивная брошь, скрепляющая ворот теткиной рубашки. В оправе потемневшего серебра покоился крупный овальный камень цвета грозового неба, рассеченный сверху вниз ослепительно-белой прожилкой, ветвящейся у основания, точно самая настоящая молния.

Лицо Клавдии напоминало плакат «дары пекарни»: между сдобными булочками щек прикорнул маленький калачик носа, поляницу большого лба венчала короткая шевелюра седых волос, торчащих как попало, точно рожь после дождя – и все это было обильно посыпано толстым слоем пудры. Из центра хлебного великолепия доброжелательно поблескивали глазурированные конфетки блекловатых голубых глаз. Губы тетка все время держала поджатыми, и это сильно портило ее образ, внося фальшивую нотку в положительный экстерьер.

Родственницы обнялись и расцеловались. После этого Клавдия переключилась на меня и, так как от лобзаний я категорически отказался, сразу принялась охать и ахать: «Как подрос! Как подрос! И глаза мамины, а нос-то, Люба, нос-то твой!» Как видно, ритуал встречи был отработан годами и жестко протоколирован, потому что, обсудив с поддакивающей в нужных местах бабушкой мой внешний вид, Клава совершенно успокоилась, «выключила» улыбку и вполне будничным, даже суховатым тоном пригласила нас в машину.

Обшарпанная желтая «Волга» стояла на парковочном «пяточке» прямо перед зданием вокзала. Смуглый водитель в темно-коричневых брюках и светлой клетчатой рубашке с коротким рукавом стоял, прислонившись к капоту, и обстругивал перочинным ножом деревянную дощечку. Его глаза скрывались за стрекозиными окулярами старомодных темных очков. Большая клетчатая кепка бросала тень на прямой нос и пухлые губы. Завидев нас, он с недовольством отбросил палочку и открыл дверь машины.

– Доброе утро, прошу. – Его голос был тихим и странно воркующим, без громких московских гласных или нарочитого вологодского оканья, словно каждое слово завернули в мягкую рогожу.

Тетя Клава с бабушкой забрались на заднее сиденье, а я, как большой, устроился впереди. Водитель опустил рядом. От него исходил резкий запах табака, смешанный с чем-то еще, едва уловимым и очень знакомым. Мужчина опустил правую руку на рычаг переключения передач, и тут я заметил, что на правой руке у него не хватает безымянного пальца.

– Можешь опустить стекло. А то у меня тут как на складе, – милостиво разрешил он. – Крути эту ручку на себя. Сильнее! Вот молодец.

– До конца не открывай – простудишься, – всполошилась бабушка. Она, как видно, еще переживала, что не уследила за мной на перроне. Мы тронулись неожиданно плавно и устремились по пустынной в этот час дороге в направлении города.

– Извините, пожалуйста... – обратился я к водителю, не решаясь сразу задать беспокоящий меня вопрос.

– Про палец спросить хочешь? – улыбнулся тот краешком рта и, не дожидаясь ответа, сунул мне под нос искалеченную руку. – Это фашист меня пометил.

– Вы воевали! – удивился я, пытаюсь сопоставить бодрый вид водителя с отдаленными событиями Великой Отечественной.

– А то, – ухмыльнулся водитель. – Всю оккупацию в подвале с крысами провоевал. Да только любопытство замучило. Страсть как хотелось на немца живого поглядеть. Вот и поплатился. Схватили меня, значит, ладонь к столу прижали и палец – чик.

– Яша, – в голосе тети Клавы слышалась легкая укоризна, – ты зачем мальчика пугаешь? На заводе он руку повредил. Лет пять уже прошло.

* * *

За окнами машины тянулись однообразные панельные дома, точно такие же, как и на окраинах столицы. Я даже слегка заскучал. На заднем сиденье бабушка с теткой громко обсуждали последние новости – телевидение сблизило центр и провинцию.

Наконец типовая застройка осталась позади, мы выбрались на открытое пространство. Впереди показалась акватория широкой спокойной реки. Ее блестящее зеленое тело было рассечено сразу двумя мостами. Дальний берег, высокий и обрывистый, пестрел разноцветными треугольниками двускатных крыш, над которыми царил белый утес большого собора. Пять глав, увенчанных куполами цвета январской ночи, четыре малых по краям и одна большая в центре, представились мне неусыпной стражей, хранящей заповедную землю от посягательств внешнего мира.

– Сосна, – проворковала тетка. Я принялся оглядываться в поисках упомянутого дерева.

– Река, – водитель закашлялся, – так называется.

«Волга» прибавила скорость и резво влетела на мост, стремительно пронеслась по нему, подпрыгивая на обитых металлом балочных швах, преодолела крутой подъем и ворвалась в город. Я прилип к окну, разглядывая старинные дома с высокими оштукатуренными цоколями и ветхими деревянными поверхами.

Время словно застыло здесь и даже как будто потекло вспять, медленно поглощая редкие современные постройки.

«Волга» миновала центральную площадь, окруженную приземистыми коробками общественных зданий с неизменным каменным «Ильичом» в центре. Дальше потянулись узкие проулки, угрюмые фасады за глухими заборами. Вскоре я уже не мог точно сказать, с какой стороны мы приехали. Наконец, сопровождаемые громогласными напутствиями братьев цепных псов, мы покинули этот лабиринт и оказались на относительно широкой улице. Машина, скрипя подвеской, неловко подпрыгивала на неровной щебеночной дороге.

– Обещались положить асфальт еще весной, а воз и ныне там. Бесхозяйственность! Сталина на них нет! – пожаловалась тетка и тут же, почти без перехода: – Ну, вот и приехали. Слава богу!

Дом, в котором выросло не одно поколение моих предков, выглядел надежным и основательным, точно зажиточный пожилой крестьянин. Ровно оштукатуренные стены цвета яичного желтка были отделены от крыши узким резным карнизом. Единственный ряд окон располагался на высоте человеческого роста и был снабжен внушительными ставнями из толстых крашеных досок, укрепленных железными полосами. Ставни по большей части оказались открыты, за мутноватыми стеклами виднелись горшки с геранью. Исключение составляли только три окна небольшой ротонды, выступающей из плоскости фасада.

Неизгладимое впечатление произвели на меня ворота. Выкрашенные в темно-зеленый цвет еловой чащи глухие створки, слегка провисшие на массивных кирпичных столбах, имели не менее трех метров в высоту и создавали ощущение нерушимой твердыни. Калитка была под стать воротам. Поперечная щель почтового ящика наводила на мысль о крепостных бойницах.

Тетка извлекла из потрепанного ридикюля огромную связку ключей и принялась выискивать нужный. Наконец ключ от калитки был обнаружен.

– Вот, возьми, открой. – Клава протянула связку бабушке. – Я пока с водителем закончу.

Старинный замок оказался механизмом своенравным. С характером. Прежде чем открыть путь в родовое гнездо, он заставил нас изрядно попотеть. Я пропустил бабушку вперед и оглянулся. В светлом прямоугольнике дверного проема был виден желтый багажник «Волги» и тетя Клава, стоящая перед долговязым шофером. Слов я расслышать не мог, но, похоже, тетка была чем-то недовольна и сейчас отчитывала водителя. Одной рукой она нервно теребила ворот рубашки, а другой беспрестанно жестикулировала, словно регулировщик на перекрестке. Мужчина стоял перед ней, ссутулившись и опустив голову. Смуглые руки безвольно висели вдоль тела. В дорожной пыли дымилась недокуренная папироса.

За воротами обнаружился просторный двор, выстланный квадратами сероватого песчаника. Щели между камнями давно заполнила трава. В местах, где редко бывало солнце, плиты покрывал изумрудный мох. Ступени крыльца также были сделаны из камня, будто я и в самом деле оказался в какой-нибудь старинной крепости. Напротив жилого дома возвышался мрачный овин. Почерневший от времени сруб густо зарос крапивой. Одной стеной сооружение упиралось в соседский забор, с другой стороны овин обнимала большая груша. Узловатые руки дерева-старожила были настолько велики и протяжны, что давно обломились бы под собственным весом, не поддерживай их упертые в землю рогатки.

Сине-зеленая тень древесной кроны бесплотным фронтиром отделяла внутренний двор от освещенного солнцем участка земли в глубине теткиных владений. Там, нежась в лучах летнего солнца, топорщились зеленым холмом листы какого-то бахчевого растения, не то тыквы, не то кабачка. В огородное царство от дома вела прямая стежка, выложенная блестящим булыжником. На границе тьмы и света, устроившись прямо на дорожке, невозмутимо вылизывал промежность толстый белый кот.

– Какой пушистый! – восхитился я.

– Это не мой – соседский. – Тетя Клава наконец присоединилась к нам. – Я животину не держу.хлопотно.

* * *

И тяжкие «крепостные» ворота, и мшистый каменный двор, и черный овин, несмотря на свою внешнюю чуждость, оказались всего лишь привратниками на пороге иной реальности. Переступив избитый ногами порог старого дома, пройдя темные сени, загроможденные садовым инвентарем, ветхими плащами и обувью, я оказался в мире удивительных вещей и запахов. Ничего из привычных моему обонянию ароматов не было здесь и в помине. Все иное, все незнакомое и какое-то пугающе самобытное. А что за архитектура? Что за странная неравномерность размеров и форм, где каждый угол наособицу, каждая половица со своим неповторимым скрипом? Музей? Кунсткамера, где собраны ветхие химеры прошлого? Нет, это было что-то другое. Все еще живое, дышащее. Городское дитя, я оробел, впервые встретившись с домом предков. Медленно, будто погруженный в странную грезу, ходил я по комнатам, едва прикасаясь к пыльным предметам, назначение которых мне было известно лишь отчасти. И они отвечали мне: может, бранились на чужака, а может, пытались подбодрить. Но, увы, я не знал их наречия. Ведь на выщербленных пыльных боках не было заводских пометок и оттиснутых ценников.

Дом имел форму буквы Г. В районе крыльца располагалось несколько подсобных помещений и большая темноватая кухня, посреди которой возвышалась железная колонна АГВ. Сейчас этот алтарь огня мирно спал, но когда нужно было принимать душ или мыть посуду, в глубине его с ревом поднималась волна синего пламени. Направо от кухни располагалась продолговатая трапезная с длинным массивным столом, накрытым ослепительно-белой скатертью: на тонкой, полупрозрачной основе были вышиты небывалые цветы и райские птицы. Из столовой я попал в большую пустоватую комнату. Из мебели здесь имелись две старинные кровати с мощными металлическими спинками, темный от времени стул и небольшой комод. На стенах не было ни картин, ни фотографий. Сквозь открытые окна лился солнечный свет. А вот и горшки с геранью! Значит, за стеклом улица! Я подошел поближе. Действительно. Вот кусты сирени у ворот, а вот грунтовая дорога – еще дымится Яшина папираса.

– Спать будете здесь, в горнице. Светло, просторно, очень хорошо, – безапелляционно заявила тетя Клава. – Горница, столовая, кухня. В другие комнаты ходить не надо. Там не прибрано.

В большую комнату выходила еще одна дверь. Она была плотно закрыта. И конечно же, я не утерпел, ведь ключ торчал в замке. За дверью клубилась темнота, из которой медленно, словно нехотя, выступали контуры предметов. Вот письменный стол, чернильница, стул с высокой спинкой. Поблескивают стеклами огромные шкафы.

Когда я перешагнул порог, то почувствовал странное сопротивление. Словно кто-то незримый мягко, но настойчиво выталкивал меня из темной комнаты.

Рядом со столом располагался старинный секретер, на обитой зеленым сукном столешнице полукругом стояли забавные резные фигурки. Я подошел, чтобы рассмотреть их поближе.

– Что ты здесь делаешь? – Я вздрогнул. На пороге, поджав губы и уперев руки в бока, стояла рассерженная тетя Клава. – Я же сказала, не ходить в другие комнаты! Здесь пыльно, не прибрано, еще, чего доброго, подхватишь какую-нибудь инфекцию.

– Но чья это комната?

– Это комната Вари, моей сестры. – Клавдия как будто смягчилась. – Она умерла три года назад. Раньше дом принадлежал ей. А теперь марш мыть руки и завтракать!

День прошел незаметно. В небе над городом еще горели отблески вечерней зари, а уединенный каменный двор перед домом уже заполнил густой зрелый сумрак. На фоне нежно-голубых вечерних небес темная громада овина казалась мрачным вестником грядущей ночи. Над коньком острой крыши игриво выгибался тонкий серебряный зубчик молодого месяца. Из темного сада явился прохладный сквознячок, заставляя листву старой груши отозваться чуть слышным шуршащим вздохом.

– Ну что засмотрелся? – Желтый прямоугольник дверного проема заслонила плотная фигура тети Клавы. Обтекая ее округлые бока, из кухни стремился на волю аромат свежей сдобы. – Заходи в дом и дверь на щеколду закрой. Я пирожков напекла. Сейчас сядем телевизор смотреть.

– Зачем закрывать? – Я удивленно посмотрел на тетку. – Калитка на замке.

– Закрой, – упрямо повторила Клавдия и вдруг зябко поежилась, – мало ли...

Я пожал плечами: надо так надо. Вошел в дом и, ухватившись за край массивной двери, потянул его на себя, отгораживаясь от внешней темноты. Когда дверь со скрипом стала на место, я с удивлением отступил от нее. Обитая кожей панель от пола до потолка была покрыта разнообразными запорами от примитивных крючков и засовов до вполне современных задвижек и цепочек. Некоторые из них казались новыми, другие давно покрыла ржавчина. В замочных скважинах на разной высоте торчало не менее десятка ключей.

– Это все Варя, – тихо проговорила тетка, предвосхищая мой вопрос. – Последние-то годы она совсем плохая была. Вот и мерещилось ей бог знает что. Только спать ляжет – вскакивает. «Воры! – кричит. – Цыгане! Лезут к нам!» Я ей: «Спи! Никто к нам не лезет». А она: «Ой, лезут, лезут. Дверь открыть хотят». Бывало, до утра по дому металась, воров искала. Даже когда при смерти была, лежа лежала, и то про воров шептала. А пока сама ходила... Как пенсия – Варя в магазин и обязательно задвижку новую купит. Боялась она очень. А все потому, что одна была. Муж-то у нее давно помер. Вот и маялась.

* * *

На следующий день мы отправились в центр города за посылками. В то время некоторые вещи и продукты проще было приобрести в столице и отправить себе же по почте. Колбаса «Сервелат» и прочие деликатесы в елецких магазинах либо отсутствовали, либо моментально сметались страждущими горожанами прямо в день завоза.

Когда мы вышли на улицу, желтая «Волга» уже ожидала перед воротами. Меланхоличный Яша терзал перочинным ножом очередную дощечку.

– Опять насорил! – возмутилась тетя Клава. – А кто убирать будет?

– Простите, – как-то тускло ответил долговязый. Он убрал нож, схватил искромсанную деревяшку двумя руками и сломал ее об колено. Лицо его при этом приобрело очень странное выражение. Мне показалось, что Яша сейчас заплачет.

– Ну, ладно, – милостиво кивнула Клавдия. – Когда вернемся, уберешь.

На площади былолюдно и жарко. Лавочки оккупировали подростки в футбольной форме. В тени «Ильича» примостилось несколько мальчишек моего возраста. Юные аборигены с упоением поглощали мороженое. Мимо курсировали пожилые ельчане и флегматичные мамы с колясками. По площади важно расхаживали жирные серые голуби. Бронзовые плечи вождя несли на себе отпечаток внимания этих вездесущих птиц.

Вместе с Яшей мы проследовали к неказистому, выкрашенному в красный цвет зданию почтамта. Полчаса вялых дебатов с почтовым чиновником, и мы обрели вожака. Все четыре, как и гласила сопроводительная телеграмма. Мне вручили одну коробку, Яша взялся за две. Бабушка с теткой решили нести оставшуюся кладь по очереди.

Когда мы вернулись на площадь, то увидели, что диспозиция у памятника поменялась. Мамаши с колясками куда-то пропали, а место футболистов заняли смуглые черноволосые женщины в просторных ярких юбках и пестрых платках.

– Цыганки, – проворчала тетя Клава, – только их не хватало. Бабушка тоже фыркнула что-то соответствующее. Взрослые часто предостерегали меня от общения с цыганами. Правда, большая часть предостережений очень походила на сказки-страшилки. Мол, «не ходите, дети, в Африку гулять». Пока мы шли через площадь, я с интересом наблюдал, как ведут себя цыганки. Их действия напоминали движение пчелиного роя, о котором недавно рассказывал Николай Дроздов, ведущий моей любимой программы «В мире животных».

Из плотной группы женщин в разные стороны выдвигались «разведчицы». Перемещаясь по площади, они выбирали человека, приближались и обрушивали на прохожего водопад вопросов. Если «жертва» реагировала, к ней подходили еще несколько цыганок, а затем перемещалась вся группа. Увлеченный наблюдением, я слегка отстал от бабушки с теткой и вдруг заметил, что Яша уже не идет за мной. Водитель отчего-то оставил коробки прямо посреди площади и двигался навстречу молодой цыганке, пытавшейся «обработать» пожилого мужчину с орденой линейкой на пиджаке. Девушка, завидев, что клиент сам идет к ней, оставила несговорчивого ветерана и устремилась к Яше. Последовал короткий обмен фразами, и вот уже гадалка держит ладони водителя в своих руках. Несколько секунд девушка внимательно вглядывалась в линии судьбы, а затем вдруг громко вскрикнула и отшатнулась. Она смотрела на неподвижно стоящего мужчину так, словно увидела что-то жуткое. Что-то небывалое. В тот же миг пестрая стая придвинулась, обтекая молодую женщину. Яша, однако, совершенно не испугался – он попытался подойти поближе. Цыганки вдруг ошетились, зашипели. Глаза горят, зубы оскалены, мне даже показалось, что у некоторых женщин в руках блеснули ножи.

– Саро! (*цыганск.* «Хватит») – Громкий окрик, точно удар кнута, разметал пеструю тучу. С соседней скамейки поднялся невысокий плотный человек. В кожаной жилетке, надетой поверх черной рубашки, в черных брюках и черных ботинках с острыми носами, он был похож на ворона, ворвавшегося в стаю тропических птиц. Лицо незнакомца скрывала широкополая шляпа. Ворот рубашки был расстегнут, и солнце играло на толстой золотой цепочке, обнимавшей шею мужчины. В тот же миг цыганки подобрали юбки и все как одна устремились к дальнему концу площади. Яша еще некоторое время постоял, слегка раскачиваясь, точно пьяный, а затем развернулся и как ни в чем не бывало направился к коробкам. Куда подевался «черный человек», я так и не понял.

Удивительно, но бабушка и тетка вовсе не заметили нашей задержки. Они стояли у «Волги» и увлеченно обсуждали судьбу какого-то дальнего родственника. Когда Яша открыл им дверь, обе пожилые женщины, продолжая болтать, смиренно влезли на заднее сиденье машины. В моей голове роилась куча вопросов, но я почему-то промолчал.

* * *

В следующие несколько дней ничего примечательного не случилось. Я осваивал дом и окрестности. Обширный участок земли, принадлежащий тете Клаве, за исключением дворовой части был полностью отдан под огород. Овощи в Черноземье достигали чудовищных размеров. Из мощной ярко-зеленой ботвы выпирали крутобокие туши великанских кабачков и оранжевые сферы гигантских тыкв, а в капустных кочанах могла укрыть свою ношу целая стая аистов. Картофельные грядки прятали в земле грозди продолговатых клубней. Растущие прямо на грунте, без всяких парников, огуречные лозы могли прокормить целый полк. На самом краю теткиных владений, словно войска на параде, выстроились ровные ряды помидоров. Мощные стебли гнулись под тяжестью светло-красных тугих плодов.

Границы огородной латифундии охраняли заросли малины и крыжовника. Здесь было много укромных уголков, изучение которых заняло у меня не один день. Одиночество и отсутствие сверстников никогда не тяготило меня. Я с удовольствием погружался в иллюзорные миры, которые сам же и придумывал.

Дом тети Клавы стоял на возвышенности. Внизу, укрытый зеленой тенью старых ив, тихонько журчал мелкий дремотный Ельчик. На том берегу просматривались между деревьям ветхие постройки заброшенного монастыря. Из округлого каменистого взлобья, точно шип на монгольском шлеме, торчала обшарпанная колокольня – прибежище стаи нахальных, шумных ворон.

Тетя Клава время от времени уезжала в свою квартиру на том берегу Сосны. И всякий раз Яша ждал ее у ворот, а затем привозил обратно.

Я начал постепенно привыкать к ночным шорохам и скрипам старого дома. Меня не пугал ни мрачный черный овин, который поначалу казался прибежищем неведомых страшных тварей, ни вечно закрытая комната тети Вари, ни страшный пламенный АГВ. Я подружился с белым котом, и теперь он регулярно встречал меня ранним утром в ожидании блюдечка с молоком. Соседи показывались редко. Раз в три дня к нам приходила Карина Андреевна. Пожилая женщина, в прошлом водитель автобуса, занималась разведением кур. Каждый раз отправляться на рынок ей было трудно, и она продавала яйца соседям. Иногда по вечерам в ворота стучался алкаш Егорка из дома напротив. Просьбы Егорки разнообразием не отличались – он хотел забыться.

Время от времени мы выбирались в город навестить своих дальних родственников Пичугиных. Они жили большой дружной семьей в полчасе ходьбы от теткиного дома. Младший сын Пичугиных Вовка был на год младше меня, но это совершенно не мешало нам общаться. Веселое открытое лицо младшего Пичугина всегда было готово расплыться в улыбке, а в глубине ярких голубых глаз сверкали шкворнистые искорки, приглашая к озорным шалостям и авантюрам. Вовка бывал в старом доме. Он знал про обросшую замками дверь и странное помешательство тети Вари.

– Они под старость все с катушек съезжают, – авторитетно заявил Вовка.

– Кто съезжает? – удивился я

– Известно кто. Сестры из старого дома. Десять их было и еще восемь братьев. Мужики-то все померли или погибли в войну, а сестры жили долго. До тети Вари была тетя Надя, до тети Нади – тетя Акулина. И у каждой свой бзик. Прабабка моя говорит, это все потому, что проклятье на них висит. Дедка, отец их землемер был, по окрестностям Ельца лазил, под железную дорогу место подбирал. Во все норы, во все болота залез и как-то раз клад нашел.

– Какой клад?

– Да кто его знает? Монгольский вроде. И будто бы заговоренный он. Если возьмешь – кранты. – Вовка выпучил глаза и принялся делать руками пассы, как будто накладывал заклятье.

– Врешь ты все, – сказал я. Мне стало обидно за родственниц.

– А вот и не вру!

– Как же тогда тетя Клава? Она вполне нормальная. Знаешь, какие пирожки вкусные печет?

– Это она пока нормальная. Скоро тоже свихнется, – поставил диагноз Вовка.

– А водителя ее видел? – Я решил переменить тему, чтобы не поссориться. – Который на «Волге» ездит? Странный какой-то.

– Беспалого? Конечно, видел. Он и у Варвары работал.

– Он говорил, что ему палец фашисты отрезали, а потом тетя сказала, что на заводе станком отрубило.

– Вот брехун! А мне сказал, что зимой на рыбалке отморозил.

– Может, он преступник или шпион, – предположил я. – Все время врет – раз, в темных очках ходит – два, неизвестно, где живет, – три.

– Живет-то он, вестимо, недалеко от вас.

– Точно! Не успеет тетя Клава позвонить, а Яша уже у ворот.

– Позвонить? – нахмурился Вовка. – Как позвонить?

– По телефону, балда!

– Сам балда! В старом доме телефона нет. Туда провода еще не дотянули, – Вовка показал мне язык.

– Что значит нет? – опешил я. – А как же тогда она его вызывает?

– Может, по рации, – растерянно предложил сын подполковника Пичугина. – Ты не видел в доме рацию?

Дни стояли жаркие и безветренные. Холмы и взгорки, извивы рек окутала плотная пелена излишнего, довлеющего тепла. С раннего утра над огородами и дорогами плыло и переливалось мутноватое марево горячего воздуха.

Листья растений печально обвисли, белый кот изменил своей привычке греться на крыше сарая и скрывался где-то под овином, в холодке. Старый петух в соседском курятнике уже не кричал по утрам, а смешно кряхтел. Люди искали спасения у воды. Берега Сосны оккупировали отдыхающие горожане.

Все началось, когда в городе стали умирать воробьи. Маленькие коричневые клочки перьев усеяли улицы Ельца, точно опавшие листья. Жители объясняли страшноватый феномен по-разному. Большинство сходилось во мнении, что виновата небывалая жара, но некоторые поговаривали о выбросе на химзаводе. Правда, в Ельце никакого химического производства отродясь не было, и сплетники грешили на ядовитое облако, принесенное ветром аж из самого Липецка. Однако, глядя на величественные белые громады, неспешно фланирующие по синему проспекту июльских небес, трудно было представить, что одна из них стала причиной гибели мелких пернатых проказников, которые так любили купаться в пыли у теткиных ворот.

Еще одна напасть – бродячие собаки. Целая стая барбосов появилась неизвестно откуда и принялась терроризировать окрестности, избрав своей «штаб-квартирой» тенистую пойму Ельчика вблизи нашего дома. Соседка говорила, что уже кого-то покусали и что давно пора вызвать «душегубку». Эта таинственная «душегубка» беспокоила меня куда больше, чем одичавшие дворняги. Зато на тетку весть о появлении собак произвела неожиданно сильное впечатление. Теперь с заходом солнца все двери и окна в доме наглухо запирались. А на большие ворота вместо ненадежного замка был наложен тяжкий дубовый засов. Вечерами тетка надолго засиживалась в трапезной. Когда я ходил на горшок, то мог видеть ее сквозь неплотно прикрытую дверь. В комнате тускло светила лампа. Клавдия сидела неподвижно, положив свои пухлые руки на белую скатерть. Перед ней на столе стояла маленькая иконка Божьей Матери и трехлитровая банка с водой, заряженной на телесеансах Алана Чумака, а чуть ближе, между ладонями, покоилась «грозовая» брошь. Ее выпуклая поверхность матово поблескивала в мертвом электрическом свете.

Мне, однако, все эти странности и страхи были нипочем. Я представлял, что нахожусь в замке, осажденном врагами, и очень жалел, что в теткин дом нет хотя бы одной заставляющей башни, с которой можно кидать камни и лить горячее масло на головы ненавистных слуг «душегубки».

За башню, впрочем, могла сойти запертая ротонда. Не бог весть что, но для детского воображения нет ничего невозможного. Интерес к комнате тети Вари разгорелся в моей душе с новой силой.

Несмотря на свою внешнюю строгость и подозрительность, тетя Клава отличалась удивительной наивностью. Ключ от комнаты покойной сестры она хранила в самом ненадежном тайнике, под подушкой. Я прекрасно знал об этом.

Легко справившись с упреками совести – ведь впереди ждало приключение, – я дождался, пока тетка уедет в город, а бабушка отправится огородничать, и завладел ключом. Старый замок поддался не сразу, но вот препоны пали, и я оказался в запретной комнате.

Меня встретила все та же пыльная тьма. С первого моего посещения здесь ничего не изменилось. Та же старая мебель, те же странные вещи. Вдруг все сжалось у меня внутри. На широкой кровати кто-то лежал. Неподвижная черная фигура раскинула в стороны руки. А где же голова? Ее не было. Я уже готов был дать стрекача, когда понял, что мой незнакомец – всего лишь старое черное платье. Наверное, оно принадлежало тете Варе. Не собираясь больше испытывать свое живое воображение, я подскочил к окну и отдернул тяжелую бархатную штору, впуская в комнату свет летнего полдня. Однако сквозь внешние ставни едва пробивались отдельные лучи. Мне пришлось взобраться на подоконник и отворить створки настежь. Улица дохнула на меня жарким ветром. И все же это было лучше, чем затхлый воздух закрытой комнаты. Пространство, в темноте выглядевшее внушительным и полным тайн, под воздействием яркого дневного света немедленно сжалось до размеров скромной комнатухи. В высоких шкафах обнаружился скучный старый фарфор и мутный, запыленный хрусталь. В углу за кроватью притулился маленький туалетный столик. Рядом на стене висел потемневший от времени холст в золоченой раме. На ткани были закреплены фотографии. В центре располагалась супружеская пара. Мужчина лет сорока, облаченный в строгий черный мундир с круглыми блестящими пуговицами, и красивая статная женщина в старинном платье. Вокруг располагались овалы портретов. Всего восемнадцать штук. Под каждым, прямо на холсте, имелась подпись. Так это же семья землемера! – догадался я. Вот они, проклятые сестры. Прямо под фотографией родителей располагалось изображение старшей сестры, Зинаиды Николаевны, красивой молодой женщины лет двадцати семи. Зинаида была очень похожа на мать, но черты ее лица были тоньше и благороднее. Взгляд казался мечтательным и отстраненным. Я быстро нашел упомянутых Вовкой Акулину и Надежду. На фото были запечатлены юные девушки, которых с трудом удавалось представить сумасшедшими старухами. Зато Варвара, несмотря на внешнюю молодость, казалась суровой и даже мрачной. Видно было, что за этим застывшим сосредоточенным лицом скрывается непростой характер. Но больше всех меня потрясла тетя Клава – белобрысый щекастый ангел с огромными невинными глазами и губами бантиком. На фото ей было не больше шести лет.

Стол с зеленым сукном выглядел не просто старым, а ветхим. Одной ножки не хватало, и вместо нее была подложена деревянная коробка с едва видимой надписью. «Т-е-о-д-о-л-и-т-ъ». Вот и фигурки, которые привлекли мое внимание в первое посещение. Я устроился на высоком стуле с прямой жесткой спинкой и принялся изучать костяные поделки. В основном это были животные: вороны, куры, коты. Особняком стояла целая стая собак. Встречались и люди: баба в платке с коромыслом и ведрами, пузатый священник в высокой шапке, с большим крестом поверх одежды, солдат, присевший на барабан. Однако больше всего мне понравились лошади. Их было не меньше двух десятков. Неведомый резчик постарался на славу. В костяном табуне не было ни одной похожей лошадки. Иные из них были вырезаны очень подробно, другие более примитивно. И все же каждый скакун нес в себе частичку буйной силы, присущей этим благородным созданиям. Казалось несправедливым, что вольные

животные скрыты в темной комнате, далеко от света и ветра. Я собрал лошадок и перенес их на подоконник. Здесь играть было куда веселее. Кажется, я увлекся, придумывая истории для каждого костяного конька. А потом некая странная иррациональная дверца приоткрылась в моем сознании. Подозреваю, что именно оттуда берутся все мальчишеские шалости. Мне очень сильно захотелось выбросить одного из коней за окно. Аккуратно взяв одну из фигурок, я вытянул руку над подоконником и осторожно разжал пальцы. Белый конек упал на газон под окном. Он отлично смотрелся в низкой зеленой траве. Мне было немного совестно, ведь чужое брать нехорошо. Но я убедил себя в том, что в любой момент смогу достать выброшенную фигурку и вернуть ее обратно. Решив, что пора закончить игру, я собрал остальных коньков и принялся расставлять их там, где они стояли раньше, постаравшись придать фигуркам положение, в котором их обнаружил.

Едва я закончил, как у ворот послышался знакомый звук мотора. Приехала тетя Клава. Хлопнула дверь машины, послышался недовольный теткин голос, в ответ что-то неразборчивое пробурчал Яша. Я опрометью бросился к выходу из комнаты, захлопнул дверь и быстро повернул ключ в замке. Когда Клавдия вошла в дом, я уже преспокойно сидел за столом и рисовал рыцарей, штурмующих замок. Вот сейчас она все поймет и устроит скандал. Однако тетке было не до меня.

Тут я вспомнил про «отпущенного» конька. Его нужно было срочно вернуть! Я выбежал в прихожую, сорвал с гвоздя связку ключей и бросился к калитке. На улице висела все та же душная пелена, лишь подола кучевых облаков едва уловимо потемнели. Собиралась долгожданная гроза.

Я с трудом отворил тяжелую скрипучую калитку, выскочил на улицу, сделал несколько шагов по направлению к ротонде и вдруг застыл как вкопанный. Спину обожгло внезапным ознобом. Под окном, лицом ко мне, стоял Яша. Он был неподвижен, словно манекен. На широкой четырехпалой ладони белела костяная лошадка.

Странные метаморфозы творились с лицом водителя. Оно текло и бурлило, точно марево над горячим асфальтом. Под знакомыми чертами проступал совершенно другой «рельеф». Лоб разгладился, а нос заострился, четко обозначились дуги бровей, волосы потемнели и удлинились. Вместо побитого жизнью пожилого мужчины передо мной предстал молодой человек лет двадцати пяти. Яша снял очки, и тут железный цветок ужаса расцвел в моем желудке.

На меня уставились два мутных бельма цвета перебродившей сметаны. Зрачков не было и в помине, но в глубине этих белесых буркал угадывалось какое-то смутное движение, какая-то чуждая, зловещая жизнь.

Я словно заledenел, привалившись к стене теткиного дома, и неотрывно глядел на пугало, стоящее в каких-то восьми метрах от меня.

Не знаю, сколько продлилась эта немая сцена, но вот Яша моргнул, водрузил стрекотинные окуляры на переносицу и, резко развернувшись, неуклюже зашагал вниз по улице. В крепко сжатом кулаке он уносил костяного конька.

Человеческая вера в привычный ход вещей – очень сильная вещь. Не прошло и десяти минут с памятной встречи, а я уже убедил себя, что Яша просто был пьян. Я вспомнил, как прошлым летом мы с мальчишками дразнили алкоголика Петровича, спящего в канаве.

Пьяница, пьяница!
За бутылкой тянется,
А бутылка далеко,
Нужно ехать на метро,
А метро сломалось,

Пьяницо взорвалось!

Повторяя дразнилку как заклинание, я постепенно успокоился. За то, что Яша банально «нагрузился», говорили и его неровная вихляющая походка, и желтая «Волга», оставшаяся стоять у теткиного дома. В схему не укладывались жуткие глаза водителя и внезапная молодость его лица. Но об этом я старался не думать.

Повесив ключи на гвоздь, я решил, что инцидент полностью исчерпан, и с детской непосредственностью погрузился в воображаемый мир средневековых баталий.

Наступил вечер, а гроза так и не началась, хоть временами и был слышен отдаленный гром. Меня позвали ужинать. Пока я расправлялся с исходящей паром рассыпчатой картошкой и двумя румяными котлетами, тетка и бабушка как-то странно посматривали на меня, а когда приступил к чаю, заговорили одновременно. Оказывается, тетка заходила в комнату Вари и каким-то образом поняла, что я там был.

Меня принялись допрашивать с пристрастием, нудно, настырно, дотошно, как только умеют старые женщины. В конце концов я не выдержал и признался в нарушении запрета, но только в том, что заходил в комнату. Про лошадку я не сказал ни слова. Клавдия, как видно, что-то подозревала и еще долго бросала в мою сторону подозрительные взгляды. Ее румяное полное лицо будто окаменело. Думаю, если бы не бабушка, тетка точно бы меня выпорола.

Тем не менее страсти постепенно улеглись. Клавдия совершенно успокоилась, включила телевизор и приготовила банку с водой. Наступало время очередного сеанса Алана Чумака.

* * *

Едва я закрыл глаза, мне привиделись мертвые воробьи. Они сидели на спинке моей кровати и скрипели противными голосами на манер соседского петуха. Глаза птиц были затянuty точно такими же мутными бельмами, как и глаза Яши.

Едва в моем угнетенном кошмаре сознания возникла мысль о водителе, как тот не замедлил явиться. Выступил из темноты, окружающей кровать, и протянул ко мне искалеченную руку. Обрубок безымянного пальца во сне выглядел ужасно. Рана была свежей и постоянно кровоточила. Багровые, светящиеся, точно кремлевские звезды, капли с тихим шипением падали во мрак. Воробьи с радостным урчанием срывались со спинки кровати и подхватывали капли на лету. От мертвых птиц веяло холодом и затхлой водой. Внезапно они показались мне огромными, точно орлы или альбатросы. А я, наоборот, съежился до размеров червяка. Мне хотелось крикнуть, отогнать химеру. Но черви не умеют кричать.

Внезапно из темноты донесся собачий лай, а затем громкий, отчаянный крик. В то же мгновение наваждение распалось на части, которые скомкались и почернели, точно кусок газеты на костре.

Я проснулся. Холодный пот тек по спине. Едва я успел вздохнуть, как страшный крик раздался снова, уже наяву.

Я вскочил. На соседней кровати заворочалась бабушка.

Крик повторился. Он был очень отчетливым и доносился из комнаты тети Клары! Неуверенно ступая в темноте по старым скрипучим половицам, натываясь на столы и шифоньеры, я направился на звук. Остановившись перед дверью теткиной комнаты, я робко постучал. Однако новый крик заставил меня потянуть ручку на себя.

Тетка сидела на кровати, прижавшись к спинке. Ее руки непрерывно двигались, голова моталась из стороны в сторону. Ноги, поджатые в коленях, были накрыты одеялом.

Я включил свет и увидел, что глаза Клавдии закрыты, а губы постоянно шевелятся. Я прислушался.

– Кусают, кусают, кусают, – быстро шептала тетка, – ноги сгрызли совсем, руки грызут-грызут. Пролезли и кусают. Нет! Пошли прочь! Фу! Фу! – Тут она снова издала тот жуткий вопль, который и разбудил меня.

В комнату, оттеснив меня, ворвалась бабушка. Подскочила к тетке, принялась трясти ее за плечи.

– Клава! Что случилось? Клава!

Тетка открыла глаза.

– Они как-то пролезли, Люба! Наверное, через подпол. Кусали меня, рвали. Насилу отогнала их.

– Да кого ж ты отогнала?

– Собак, Люба. Собак! Здоровенные, лютые псы. Нешто ты их не видала?

– Клава, – строго сказала бабушка, – дом закрыт. Какие еще собаки?

– Да как же закрыт? А ноги-то мои? Смотри, все в крови! – Тетка задрала одеяло. Ее ноги покрывала сеть синих вен, демонстрируя обычные проблемы пожилых людей. Однако никаких ран или синяков не было и в помине.

– Да как же это? – пролепетала Клавдия. – Кровь-то ручьем лилась!

– Это был сон. Вот как, – сказала бабушка.

– Нет, – заупрямилась тетка, – я их видела, они где-то здесь. – Внезапно ее лицо застыло, точно внезапная догадка поразила женщину до глубины души.

– Это ОН! – прохрипела тетка. – Он натравил. За что? За что? Что я ему?.. – Ее голос прервался протяжным всхлипом, рука поднялась, и пухлый палец уперся...

Сначала мне показалось, что Клавдия указывает на меня, и, ошарашенный, отшатнулся, но обвиняющий перст искал цель несколько левее того места, где я стоял. Я скосил глаза и увидел небольшой, потемневший от времени комод. На его крышке покоилась аккуратно сложенная белая сорочка, а поверх нее, точно причудливое пресс-папье, лежала «грозовая» брошь. Овальный камень был непроницаем и темен, словно февральская полынья, по серебряной оправе гуляли холодные блики.

Бабушка резко повернулась и подошла ко мне.

– Тебе ни к чему тут стоять, – яростно зашептала она. – Тете Клаве нездоровится. Немедленно ступай в постель!

Очевидно, бабушка решила, что тетка винит в своих бедах меня.

Я послушно отправился в горницу. Лег, но сразу заснуть не смог. Было слышно, как бабушка водит тетку по дому и, словно маленькую, убеждает: «Смотри, на кухне никого нет... и в прихожей никого. Видишь – дверь закрыта. Хорошо, эту щеколду мы тоже закроем. Да, и эту...» В ответ слышалось бессвязное лепетание Клавы. Из невнятного потока слов то и дело всплывали «собаки» и загадочный «ОН». Похоже, «пророчество» Вовки начинало сбываться. Тетка помешалась. Но как насчет собачьего лая, который я слышал спросонья? Зловещие загадки продолжали множиться.

* * *

Все утро Клавдия не выходила из своей комнаты. Она часто звала к себе бабушку, просила пить «заряженную» воду. На почве ночных кошмаров у тетки разыгралась лихорадка.

Настало время вызвать доктора. Однако ближайшая поликлиника располагалась там же, где и почтамт. На главной площади, под защитой бронзового вождя.

– Я пойду схожу за врачом, а ты помогай тете Клаве. Не отходи далеко, – велела бабушка, – приноси ей компот – на кухне стоит, в бидоне, я с водой развела. Вставать не давай. Вот марлевая повязка. Повяжи, а то еще, чего доброго, заразишься.

Продолжая бомбардировать меня инструкциями, бабушка собралась, накрутила и наконец отправилась за врачом, распространяя вокруг густой запах дешевых духов.

В каменном дворе стало пусто. Я оглянулся вокруг и на мгновение словно вынырнул из океана мальчишеских грез. Я представил себе, как шумный, заполненный жизнью двор постепенно возвращается к тишине, как ветшает старый дом, пустеют амбары и флигеля. Больше не шлепают по каменной стежке босые ноги маленьких проказников. Протяжный стол, за которым вечерами собиралась вся семья, становится сначала верстаком, потом просто ветхой развалиной в глубине заброшенного овина, а затем, в одну из «голодных» страшных зим, превращается в растопку для печи. Я представил, как один за другим обитатели двора уходят во внешний мир и он убивает их: постепенно, истощая стареющие тела, или мгновенно, посредством воды, огня или фашистской пули. «У землемера было восемнадцать детей. Клава – самая младшая», – вспомнил я слова Вовки Пичугина. Младшая, и последняя.

Мне стало жалко тетку. Я бросился в дом. Нужно как-то помочь, поддержать. Что там бабушка говорила про компот? Я вихрем влетел на кухню. С трудом наклонил тяжелый бидон и до краев наполнил большую эмалированную кружку красноватой жидкостью.

Я застал Клавдию в состоянии странной ажитации. Предметом волнения тетки была грозная брошь. Пожилая женщина тянулась к ней так, словно в черном овале заключался корень всех ее желаний и помыслов. И в то же время что-то не давало ей добраться до броши. Что это было? Сомнение, слабость или страх? Я не мог сказать.

Завидев меня, Клавдия прекратила свои попытки подняться и вцепилась в предложенную кружку с компотом. Опорожнив ее до половины, тетка как будто немного успокоилась.

– Послушай, дружок... – Клавдия сделала еще один большой глоток, – послушай, мне нужно... нужно вот это. – Она указала на брошь. – Я... мне кажется, я должна... Должна попросить...

– Вы хотите, чтобы я принес?

– Да-да, дай мне ее. Понимаешь, я бы и сама взяла, да ноги на пол мне не спустить. Иначе найдут, разорвут. Люба говорит, нет никого, да я-то знаю: здесь они где-то. Прячутся. Ждут. А я так рассудила: извинюсь перед ним, попрошу прощения, он их и прогонит. Только вот до брошки никак не дотянусь. Дай мне ее! Дай мне ее сейчас!

Мои опасения подтвердились. Тетка была совершенно безумна. Однако я решил не расстраивать ее еще больше и, подойдя к комоду, взял брошь. Темный камень был холодным на ощупь. Я хотел передать украшение тетке, как вдруг что-то врезалось в оконное стекло снаружи. От неожиданности я разжал пальцы, и тяжелое украшение с глухим стуком упало на пол. Я наклонился подобрать брошь и увидел, что грозной камень поднялся над плоскостью серебряной оправы, точно хитиновый покров на спине жука-рогача. От удара об пол сработала пружина, скрытая под корпусом. Я поднял украшение и, конечно, не смог удержаться от того, чтобы взглянуть на содержимое секрета.

Я не сразу осознал, что передо мной, а когда понял, то чуть снова не выронил брошь. На красной бархатной подкладке лежал иссохший, почерневший палец. Похожая на гнилой пергамент кожа собралась складками, обнажая желтую кость в месте, где палец отделили от тела.

Перст был принужденно согнут по форме своего странного вместилища. Вокруг длинного, загнутого внутрь ногтя выступила мутно-зеленая субстанция. Не то запоздалый гной, не то иные выделения, свойственные мертвой плоти.

Я с ужасом воззрился на тетку, но та, как будто ничего не замечая, продолжала тянуть руки к шкатулке. Мне оставалось только передать ей «грозовую» брошь.

Клавдия приняла подношение чуть ли не с благоговением. Положила перед собой на простыню и принялась разглядывать, словно перед ней была великая драгоценность. Затем потянула за цепочку, что висела у нее на груди. На конце цепочки оказалось кольцо желтого металла. Это простое украшение было слишком велико для теткиных пальцев и, по всей видимости, предназначалось мужчине.

Клавдия извлекла почерневший отросток из шкатулки и тут же окольцевала его, приговаривая: «Кольцо на пальце – жених у ворот. Кольцо на пальце – жених у ворот». Все эти действия были проделаны совершенно автоматически, словно завязывание шнурков или чистка картофеля

– И что теперь? – спросил я, хотя уже начал догадываться.

– Нужно ждать. Он придет. – Тетка сняла кольцо и быстро убрала под рубашку. Страшный секрет скрылся в недрах «грозовой» броши.

Минут через десять под окном раздался звук клаксона. Яша явился к своей хозяйке.

– Впусти,пусти его, – зашептала тетка. – Он поможет, прогонит собак, – с этими словами Клавдия без сил откинулась на подушки.

Что мне было делать? События последних дней совершенно не укладывались в принятые правила игры. Будь я старше, наверное, сошел бы с ума или просто отключился. Однако сознание ребенка куда гибче, чем у взрослого.

Я вспомнил жуткие белесые глаза водителя, его изменчивое текучее лицо и понял, что ни за какие сокровища не позволю ему войти в нашу «крепость». Тетка просто бредит, а когда придет в себя, скажет мне спасибо.

Сначала я решил подождать в надежде, что Яша уедет, но потом отказался от этой мысли. А вдруг он будет стоять там до вечера? Придет бабушка с доктором и тогда... Я не знал, на что способен белоглазый человек. Когда два года назад я ездил с родителями на Кавказ, то слышал там легенды о вурдалаках. Днем они походили на людей, а ночью набрасывались на прохожих и пили кровь. Что, если Яша вурдалак? Правда, тетка как-то управляла им. Однако просить Клавдию прогнать страшного водителя сейчас не имело смысла. Ведь она сама позвала его. И тут я вспомнил про комнату тети Вари и костяные фигурки. Я боялся, что Клавдия забрала ключ, но мне повезло. Он все так же торчал в замке.

* * *

Яша ждал в своей обычной позе, прислонившись к капоту. В стрекозиных очках отражались кусты сирени и зеленые створки ворот.

– Здравствуйте... – неуверенно начал я, стараясь не думать о том, что скрывается за зеркальными стеклами.

– О, малец! Ты чьих будешь? – удивленно воскликнул водитель. Его интонация странно изменилась. В ней появились нотки, не свойственные прежнему безразличному Яше.

– Тетя просила передать... – попытался я снова.

– Тетка? Так ты Зины племянш? Ну, здравствуй, молодой-красивый! А где ж сама хозяйка? Зина-то где, а?

– Э... Зина? – удивился я и тут же припомнил: Зиной звали одну из сестер. Но ведь она умерла? Неужели Яша не знает? И меня он, кажется, тоже не узнал. – Ее... ее нет, – наконец выдал я.

– Да ну? А кто ж меня звал тогда?

– Тетя Клава.

– Клава? Младшая? – Яша запнулся, словно натолкнулся на стену, и потом проговорил уже совершенно другим голосом: – Вон как. Вон оно как. – Потом тряхнул головой. – Ну, Клава так Клава, лишь бы лодка плавала. – И легонько стукнул по капоту «Волги». – Зови ее, малец! Прокачу в лучшем виде, по-барски, наособицу да с бубенчиком!

– Тете Клаве нездоровится. Она просила передать, чтобы вы ехали домой. – Я сказал то, что задумал, и с ужасом ждал ответа.

– Э-э, нет, погоди, – протянул водитель. – Как же это получается? Сама звала, а теперь гонит. Уговор есть уговор. Постой-ка, сокол. А может, ты все врешь? Пойдем-ка в дом, разберемся.

Он надвинулся на меня, заслоняя солнечный свет.

– Вам нельзя внутрь! Нельзя! Уходите! Пожалуйста! – отчаянно завопил я, а затем изо всех сил бросил в Яшу то, что до этого сжимал в кулаке. Белая фигурка отскочила от груди водителя и упала в дорожную пыль.

Реакция мужчины была потрясающая. Он рванулся за костяным коньком, точно утопающий за спасательным кругом. Рухнув на дорогу, Яша подхватил фигурку. При падении очки свалились с переносицы, и я вновь увидел мутный свет его ужасных глаз.

Водитель баюкал фигурку, разговаривал с ней, точно она была живая.

Потом поднялся и посмотрел на меня.

– Откуда... – прохрипел Яша, – откуда ты взял это? Там есть... еще? – Он начал медленно подниматься на ноги.

Я бросился к воротам, юркнул в калитку и налег на дверь.

Едва я успел повернуть ключ в замке, как толстые дубовые доски прогнулись от страшного удара.

Не став дожидаться, пока монстр сломает ворота, я бросился в дом и принялся закрывать входную дверь на все многочисленные крючки и запоры. Затем бросился в трапезную – баррикадировать окна, потом метнулся в горницу. Я осторожно подкрался к окну и выглянул, прячась за горшки с геранью. Вопреки моим ожиданиям, Яша вовсе не ломился в ворота, а просто стоял и неотрывно смотрел на старый дом, словно увидел его впервые. Я мысленно повторял про себя: «Уезжай, уезжай. Пожалуйста!»

К моему удивлению, заклинание сработало. Яша повернулся, открыл дверь машины, и вскоре о том, что он был здесь, напоминало только облако дорожной пыли перед воротами да шум мотора, удаляющийся в сторону Ельчика.

Я подождал еще немного, удостоверившись, что белоглазый не собирается возвращаться, и отправился в комнату тети Клавы. Я не знал, что ей сказать. Как объяснить, почему Яша уехал.

К моему облегчению, лгать мне не пришлось. Тетка мирно спала, смешно причмокивая во сне. «Грозовая» брошь мертвым жуком покоилась у нее на груди. Я облегченно вздохнул. Скорее всего, Клавдия и не вспомнит о том, что «звала» водителя. Чтобы обезопасить себя, я забрал брошь.

Я подошел к окну теткиной спальни, выходящему на соседский двор, пытаюсь понять, что за звук заставил меня выронить брошь. На оконном карнизе лежал мертвый воробей.

* * *

Бабушка с доктором явились часа через два. К этому времени я уже почти успокоился. Они разбудили Клавдию. Горбоносый долговязый врач напоминал худого, нервного грача-альбиноса. Неряшливый, всклокоченный, он метался вокруг кровати, наклоня большую голову то вправо, то влево. За его спиной, точно два крыла, поднимались и опадали полы белого халата. Когда дело дошло до стетоскопа, меня из комнаты, конечно, выставили. Из-

за неплотно прикрытой двери доносились обрывки малопонятных фраз: «тремор верхних конечностей... аритмия... верхнее давление в норме, а вот нижнее... вот-с... подозрение на микроинсульт... галлюцинации вызваны спазмом... постельный режим».

Дверь заскрипела, открываясь, и я поспешил спрятаться в трапезной.

– И запомните, вам ни в коем случае нельзя волноваться. Ни в коем случае, понимаете? – Теперь голос доктора был слышен отчетливо. Вскоре они с бабушкой вышли во двор, и я последовал за ними.

– ...Вас я понимаю, – говорил доктор, – отдых – дело святое. Но вот Клавдия Николаевна – это же совершенно другое дело! Человек пожилой, одинокий. Все, что угодно, может случиться. Поразительно, как она беспечна! Ведь у нее же квартира за рекой, со всеми удобствами. На дворе двадцатый век, люди в космос летят, а здесь средневековое какое-то, право слово. Даже телефона нет. А зимой? «Скорая» сюда не доедет. Это я вам заявляю со всей ответственностью.

– Да ведь это ее дом. Здесь она выросла. Как же его оставить? А вдруг разворуют все? – тихонько возразила бабушка.

– В ее возрасте не об имуществе надо беспокоиться, а о здоровье! – отрезал носатый эскулап. – Вот не хотел вам говорить, а теперь скажу. Сегодня ночью к нам доставили вашего соседа Егора Тимофеевича Толстопальцева. Множественные ранения горла, рук и ног. Вот-с.

– Это кто ж Егор Тимофеевич? – удивилась бабушка. – Я вроде таких не знаю. Постойте! Это Егорка, что ли? Он к Клаве за бутылкой ходит.

– Он самый. Только в этот раз не дошел ваш Егорка.

– Что ж с ним случилось?

– Собаки. – Доктор поднял чемоданчик. – Собаки его порвали. Та стая, что у Ельчика живет. Повезло ему, что пьяный был. На трассу сам выбрался. Первый же водитель его и подобрал. Народ у нас добрый.

* * *

– Это кто ж такой вурдалак? Упырь, что ли? – заинтересованно спросил Вовка, демонстрируя неожиданные познания в классической литературе.

Мы сидели на старых телеграфных столбах, сложенных поленицей у Вовкиного дома, и ели мороженое.

– Вроде того. Только на вид не страшный. Будто обычный человек, а на самом деле – нет.

– Не, Яша на упыря не похож. – Вовка глубокомысленно поковырял в носу. – Вот Егорка ваш – этот точно упырь, или как там – бурдалак.

– Да при чем тут Егорка?! – разозлился я.

– А давай за ним проследим? – неожиданно предложил Вовка

– На фиг? Он же в больнице лежит.

– Не за Егоркой, балда! За Яшей. Вдруг он и правда шпион? – Глаза младшего Пичугина горели охотничьим азартом. Видно, он представил себя бравым контрразведчиком из мультфильма «Шпионские страсти» и от версии о том, что водитель тети Клавы – вражеский резидент, отказываться не желал.

– А что? Давай! – Я совсем не был уверен, что хочу снова встретиться с белоглазым, но спасовать перед Вовкой не мог.

– Если что найдем, дяде Степе из шестой квартиры расскажем. Он майор милиции.

– Может, сразу расскажем? – с надеждой предложил я.

– Не, сразу нельзя, – покачал головой рассудительный Вовка. – Ты «Следствие ведут знатоки» видел? Мы ему про Яшу скажем, а он тут же спросит: «Какие у вас доказательства?»

Где улики?» А у нас ничего и нет. Вот если бы рацию найти или еще чего-нибудь. Ну, пистолет там, паспорт фальшивый или парашют прикопанный. Тогда можно.

– Ну, хорошо. Давай проследим. – Я почувствовал, как проникаюсь Вовкиным энтузиазмом. – Завтра вечером бабушка на почту пойдет. Ей в Москву позвонить надо. Вот тогда и приходи.

* * *

Идти по незнакомой улице без взрослых было непривычно. Чувство свободы смешивалось с робостью, радость со страхом. Совсем не так ведут себя настоящие борцы со шпионами. Я утешался только тем, что Вовка тоже был не в своей тарелке.

Мы спускались вниз по улице и с каждым шагом все явственнее ощущали влажное дыхание реки. Запахи тины, прели и болотных растений будоражили ноздри. Пойма надвигалась на нас в буйстве зелени, криках птиц и гудении насекомых. Впереди изумрудными полусферами вспухали кроны старых ив, сторожащих берег. Природа, питаемая водным источником, властно брала здесь свое, а человеческое присутствие, напротив, умаялось. Жалкие полуразрушенные лачуги у подножия холма покосились и выросли в землю. Почти невидимые под гнетом плюща и дикого хмеля, чернели провалы окон. Вороньим глазом поблескивали редкие сохранившиеся стекла.

– Вот сюда он сворачивает. Мы прошлой осенью за грушами к тете Клавье приходили, и я видел. – Вовка указал на малозаметный проулок.

– А ты уверен? – Я недоверчиво взглянул на узкий проход, отделяющий последний перед прибрежными зарослями ряд домов от остального массива зданий. – Здесь едва машина пройдет, и дома как будто нежилые.

– Точно здесь. Честное октябрятское! – заупрямился Вовка. – Вон, смотри. Следы колес свежие.

Решив довериться елецкому «пинкертону», я свернул с улицы в проход. В этом месте еще явственней ощущалось проклятие запустения. Почерневшие щербатые заборы не скрывали заросшие сорняком дворы и ветхие постройки.

– Здесь парк хотели разбить, уже года три как, обещали даже хоккейную коробку поставить, – отчего-то шепотом сказал Вовка. – Да вот не разбили.

Следы шин вывели нас к небольшому пустырю. На его краю возвышалась куча песка, обильно поросшая дикой ромашкой и львиным зевом. Рядом бесформенной массой темнел наваленный как попало рубероид. Из буйных кустов, окаймлявших пустое пространство, торчали серые туши бетонных плит. Похоже, здесь действительно собирались что-то строить. Следы огибали кучу песка и терялись в прибрежной зелени.

Мы неуверенно замерли на краю этого своеобразного «фронта» цивилизации.

– Ну что встал? Трусишь? – воинственно поинтересовался Вовка.

– Вот еще! – Я первым шагнул в неизвестность.

В молчании пробирались мы через заплоты крапивы и репейника, цепляясь за торчащие из земли древесные корни. Под ногами постоянно что-то хлюпало, трещало и крошилось. И от этого казалось, что мы идем по кишасим насекомым, как в фильме «Индиана Джонс и Храм Судьбы», который втайне от родителей показывал мне одноклассник-мажор. Кроны ив наконец сомкнулись над нашей головой. Город еще купался в солнечных лучах, а здесь уже царили влажные прохладные сумерки.

На «Волгу» мы наткнулись внезапно. Желтый багажник вынырнул из высокой травы, точно ждал в засаде. Казалось, машина стояла здесь не один день, засыпанная листвой и древесным мусором, недвижимая, мертвая. Даже трава в колее поднялась.

– Смотри! – Вовка махнул рукой куда-то вперед.

Оказалось, что машина закрывает собой едва заметную тропинку. Пройдя по ней, мы выбрались на поляну, образованную давно пересохшей старицей Ельчика. От водного потока, некогда бежавшего здесь, остались только обширные мутные лужи. Впереди, на естественном островке, виднелись остатки какой-то постройки. Из травы поднималась неровная кирпичная стена. Сиротливо зиял оплетенный выюнком дверной проем. Чуть в глубине угадывалась покосившаяся башня печной трубы.

– Никого нет, – разочарованно и в то же время облегченно проговорил Вовка. – Наверное, он здесь машину оставляет, чтоб не украли.

– Надо посмотреть в доме. – Я перепрыгнул лужу и крадучись направился к руинам.

– Зачем? Видишь, какая там трава высокая? И следов никаких нет, – засопел мне в спину недовольный «сыщик».

– Я только взгляну и назад. – Я не стал говорить Вовке, что заметил на дне лужи едва видный отпечаток подошвы.

Чем ближе подбирался я к разрушенному дому, тем меньше было во мне уверенности. Может, Вовка прав и лучше вернуться? Однако что-то влекло меня к пустому дверному проему.

Я приблизился к руинам вплотную. Запустение было полным и очевидным. Здесь давно никто не жил. Я вошел и огляделся. Судя по обводам кирпичного фундамента, дом был достаточно большим и вполне добротным. Из-под слоя земли кое-где выглядывали массивные доски пола. Остатки стен и покосившаяся труба казались закопченными, наводя на мысли о пожаре. Я представил себе, как давным-давно их лизало жадное пламя, и поежился. Я прошел руины насквозь и наконец увидел Ельчик, который до того выдавал свое присутствие только приглушенным журчанием. Разрушенный дом буквально нависал над рекой. Темнеющий поток огибал островок и устремлялся по коридору, образованному древесными стволами. Из глубины этого сумрачного тоннеля медленно наплывал туман. Белесые щупальца реяли над водой, неторопливо поглощая видимое пространство. Мне подумалось, что глупо было приходить сюда вечером и что идти назад в сумерках будет куда труднее. Я развернулся, собираясь покинуть руины, и тут увидел кресты.

Два покосившихся деревянных знака возникли, словно по волшебству. Похоже, огонь, бушевавший здесь, не затронул их. Когда я входил, то не заметил могил из-за того, что они находились в углублении, зато теперь отчетливо различал низкие холмики. Мне стало жутко. Кто и зачем похоронил здесь людей? На негнувшихся ногах я приблизился и почти сразу обнаружил третье захоронение, а точнее, просто яму в земле. Странное любопытство овладело мной и, хотя все мое существо противилось этому, я встал на краю и посмотрел вниз.

Из влажной темноты последнего приюта на меня уставились страшные белесые глаза. Яша лежал на спине совершенно неподвижно. В открытом углублении скопилась вода, которая, точно саван, укрывала нижнюю часть туловища и ноги водителя. Над черной хлябью поднимались только лицо и грудь, на которой прямо под сердцем покоились две костяные фигурки.

Я отшатнулся и хотел броситься прочь, но тут за моей спиной раздалось угрожающее рычание. Крупная лохматая собака легко перемахнула низкую стену и теперь стояла в шаге от меня, наклонив голову и обнажив клыки. Широкая грудь и мощные лапы наводили на мысли о волкодаве, однако морда была слишком узкой, как у овчарки. Засохшая зеленоватая грязь, покрывающая шерсть вокруг пасти и на лбу, выглядела точно чешуя, превращая собаку в исчадие ада. Дикарь снова зарычал, и, словно в ответ на этот рокошующий грозный звук, плеснула вода в могиле. Я в ужасе скосил глаза и увидел, как над краем ямы поднялась облепленная ряской искалеченная рука, вся в потеках черной болотной жижи.

* * *

Кажется, никогда я не бегал быстрее. Далеко впереди меня ломился сквозь кусты перепуганный Вовка. За спиной был слышен собачий лай. Стая настигала нас. Дышала в затылок.

Я буквально вывалился из кустов. Пробежал по бетонной плите и хотел прыгнуть на землю, но зацепился рубашкой за предательскую ветку. Несколько мгновений ушло у меня на то, чтобы освободиться, однако было уже поздно. Разномастные дворняги, всего около десятка, выступили из травы, охватывая меня полукольцом. Я оглянулся, ища глазами товарища. Но Вовки и след простыл. Вместо этого на площадку выбрался узкомордый вожак. Псы начали медленно приближаться. Я весь сжался. Вот сейчас, сейчас они набросятся на меня...

– Нат! Нашты! (*цыганск*: Нет! Нельзя!) – резкий повелительный окрик обрушился на собак сверху.

Я поднял голову. На куче песка стоял «черный» человек в шляпе и остроносых башмаках. Тот самый, что прогнал цыганок на рынке. Похоже, что его удивительные способности помогли и здесь. В ответ на слова человека в шляпе вожак зарычал, но совсем не так, как тогда в развалинах. В голосе зверя слышалось признание чужой силы. Пес развернулся и бесшумно исчез в кустах. Другие собаки также покинули поле боя.

Тем временем мой спаситель спустился вниз. Он оказался на удивление невысоким, едва ли выше меня. Изящный, худощавый, смуглый. Одежда сидела на нем идеально и смотрелась очень гармонично, однако было в ней что-то необычное, нездешнее.словно «черный» человек сбежал с массовки к историческому фильму.

Его волосы, длинные, черные, с едва заметным серебром седины, вольно раскинулись по плечам. Я поймал себя на том, что никак не могу рассмотреть лицо мужчины. Его черты ускользали от взгляда, словно я смотрел на них издали или сквозь туман.

– Рад встрече. – Незнакомец, я прозвал его «цыганом», легонько коснулся полей своей шляпы.

– Здравствуйте, – робко ответил я. – Спасибо... спасибо, что спасли.

Словно в подтверждение моих слов, из глубины прибрежных зарослей послышался отдаленный лай. Я вздрогнул.

– Час поздний, а место здесь нехорошее. – Цыган указал рукой на узкий проулок, освещенный лучами заходящего солнца. – Давай-ка я тебя до дому провожу, а то мало ли...

Мы медленно двинулись вдоль трухлявых заборов.

– А вы... вы кто? То есть я хотел сказать... в тот раз на площади это же были вы и теперь... Вы ведь все знаете, да?

– Все, пожалуй, только боженька знает. А я... я просто старый ром, хожу по земле, истории собираю. – Цыган усмехнулся.

– Вы писатель?

– Писатель? Да нет, скорее сказитель... э... сказочник. – В голосе моего неожиданного собеседника было что-то неуловимо знакомое. Внезапно меня осенило: точно так же, мягко и плавно, говорил Белоглазый!

– Вы знакомы с Яшей? Вы родственники?

– Его знаю, – некоторое время мужчина шел молча. Потом повернул голову и пристально посмотрел на меня. На мгновение пелена, укрывающая его лицо, стала прозрачной, и я увидел внимательные черные глаза, большой нос с горбинкой и тонкие губы. – Вот послушай, что люди говорят.

Рассказ старого цыгана

Случилось это давно. Еще до большевиков. Цыгане тогда за рекой табором стояли – приветил их местный помещик Бахтеев. Долго стояли. Слишком долго. Старикам-то оно, может, и лучше. Не надо в арбе кости растрясать, не надо думать, как хлеб добывать. А молодым скучно. Кровь играет. Вот и повадились в город шастать. И пошло-поехало: что ни день, то скандал, что ни ночь, то драка. Народ городской цыган не терпит. Случается, правда, и так, что влюбится какой купчина в цыганку без памяти. Прикипит, что твой блин к сковороде, – обухом не отшибешь. Однако в тот раз по-другому вышло. Влюбился парень из наших в дочь кожемяки Нила. И она ему не противилась. Прошла зима, и родила Ниловна мальчика. Сам смуглый, черноволосый – цыган цыганом, а глаза синие, как васильки. Как июньское небо глаза. Прошли годы, и вырос парень, что надо. Высокий, статный, красивый. Родители-то его умерли, стало быть, самому надо решать, какой путь выбрать, какой дорогой по жизни катиться. Вот только никто его, бедное сердце, к себе принимать не хочет. Кожемяки, что вдоль Ельчика издавна селились, «чертовым выблядком» обзывали. И бить не били, но и знаться не хотели. Сунулся он в табор. И вроде бы взяли его уже. У нас-то народ подороже будет. Да только увидела парня старая гадалка Гаитана и ну волосы на себе рвать, об землю биться. «Зло! – кричит. – Зло от таких глаз нам будет, ромалы! Страшное лихо!» И правда, есть у цыган поверье. Ежели у человека от роду с лицом что не так: губа заячья, к примеру, или глаз косой, абы волосы рыжие – значит, после смерти будет он из могилки подниматься. Суждено ему стать *муло*, не живым и не мертвым. Днем такой мертвец ходит себе среди людей и ничем от живых не отличается, кроме запаха. Мужчины-*муло* миндальной косточкой пахнут, женщины – дынным жмыхом. А только запах этот не вдруг разберешь. Ночью же начинает *муло* озоровать, из живых соки тянуть. Если сильно голодный – может насмерть загрызть. Вот Гаитана и подняла крик. Из-за глаз его васильковых. На шум пришел ром-баро, старший цыган, стало быть. Посмотрел на пришлеца, головой покачал. Уходи. Нет тебе здесь приюта. И пошел полукровка несолоно хлебавши куда глаза глядят.

В то время под Аргамачьей кручей трактир стоял. Днем вроде обычное заведение. Мастеровые туда захаживали рюмочку опрокинуть, и даже иные купцы не брезговали, но как только солнце за Вознесенский собор прятаться начинало – тянулись к трактиру люди темные, лихие. Под питейным залом тайная камора имелась. Там всю ночь игра шла. Трактирщик Акзыр, старый татарин, человек тертый, бывалый, с городскими набольшими как-то договорился, так что городовые в подвал нос не совали. Ну а если б все же случилась облава – сбежать оттуда, ежели что, проще простого. Вся Аргамачка-то, вестимо, ходами подземными еще с Тамерлановых времен изрыта.

И случилось нашему полукровке к этой недоброй компании пристать. Сделался он знатным игроком: и в карты ему удача, и в кости. Стали у парня деньжата водиться. К деньгам и гордость пришла. Куда ж без нее? Как-то с крупного куша выкупил парень дом своей матушки в кожевенной слободе и поселился там. Может, просто от доброй памяти, а может, чтобы соседей позлить. Бог его знает. Вот только доход в кубышку парень складывать не умел. Все спускал подчистую. Прогуливал, пропивал и босым домой возвращался. Ну а если начинал проигрывать – злился страшно. Азартен был не в меру. Последние портки на кон поставит, а все ж отыграется. Так его и прозвали Закладом.

Жил Заклад весело, но как-то нехорошо, навзрыд. Видно было: тяготит его то, что застрял он меж двух жизней, оседлой и кочевой, словно душа непокойная меж двух осин. Ни на небо ей, ни в землю хода нет.

Вот однажды приехал в город аж из самой Москвы, серьезный человек, вор по своей темной надобности. Как вечер, отправляется гость в тот самый трактир. Ставит всей лихой

братии по чарке «Царской» и зовет в карты переведаться. Подтянулись к нему шулера всех мастей. Расселись. И пошла игра. Да такая, что не в сказке сказать. Гость ночной будто заговоренный. Ни одного проигрыша. Словно сам черт ему карту нужную в руку кладет. Народ уже шептаться начал: «Нечисто тут что-то. Надо бы гостя тряхануть как следует, да посмотреть, что у него под одежкой спрятано. Нет ли хвоста». Да только все без толку, потому что гость не один приехал. За спиной у него два брата-мордворота. Поперек себя шире. Руки, что стволы, ноги, что колоды. Не подступиться.

Тут спускается в подземную камору Заклад. Веселый, пьяный, при всем параде. Кудри черные по плечам вольно лежат, глаза синие, что два камня драгоценных. Рубаха шелковая, как огонь красна, брюки лучшей ткани в смоляные сапоги заправлены. На пальцах золотые перстни. В зубах папироска дымит. Спускается красивый по лестнице, точно барон выступает. Идет напрямик к тому столу, где фартовый карты мечет. «Дозволь, – говорит, – батюшка, с тобой партейку перекинуть». Тот кивает. Садись, мол.

Начали играть. Удачей меряться. В первый раз Заклад гостя обыграл. И во второй. Народ лихой – не чета простым мужикам; делают вид, что игра их не интересует, а самим страх как любопытно, что дальше будет. Глядь, и третья партия за полукровкой. Парень раскраснелся, грудь выпятил: вот тебе, москаль, – знай наших! А вор даже бровью не ведет, только ассигнации достает и на кон опять ставит. Сыграли по четвертой, а на пятой проиграл Заклад. Крепко. Почти все, что было. Но он не унывает. Перстни давай ставить, рубаху, даже крест нательный и тот в игре. Вору все едино – крест так крест, только сдавай. И случилось так, что ничего у парня не осталось. Все проклятый хитрован у него вытянул. Улыбнулся глумливо. Ставь или уходи, с нищими не играю. Взыграла в Закладе цыганская кровь. «Не уйду! – кричит. – Хочешь, режь меня, а дай отыграться!» Тут человек нехорошо так улыбается, к людям, что за игрой следят, голову воротит. «Все слышали?» – спрашивает. Те кивают – слышали, мол. «Это, – говорит гость, – чтоб потом промеж нас противоречиев никаких не было. А теперь слушай: если и впрямь хочешь игру продолжить, ставь на кон свой палец». Побледнел Заклад. Вон как дело-то обернулось. Отступи он тогда – никто бы его не осудил. Деньги что? Их отыграть абы украсть можно. Палец – дело другое. Но не отступил парень. «Эх, была не была! Давай на палец играть!» Вот сели, карты сдали. А вокруг тишина такая, что слышно, как у трактирщика в животе щи бродят. Игра-то не шуточная. Смотрит Заклад – масть пошла, и уж совсем было решил, что победил черта московского, да вышло иначе. Сильна у парня удача, да у вора опыта больше. Проиграл Заклад свой палец. Тут же подельники гостя подоспели, хватъ парня за руку, к столу прижали и враз палец от тела отняли.

Я ахнул. В историях, которые я привык слушать, все кончалось хорошо или, во всяком случае, добро торжествовало. Однако определить, где же в сказке старого цыгана была «правильная», а где «неправильная» сторона, тоже оказалось не просто.

– А что же было потом? – настойчиво спросил я, втайне надеясь, что продолжение истории расставит все точки над «і».

– Вместе с пальцем ушла от Заклада вся картежная удача. Играть он почти перестал. В трактире появлялся редко. Порвал связь с друзьями и подельниками. Денег у него не осталось, и, чтоб не умереть с голоду, начал парень фигурки из дерева и кости резать да на базаре продавать. Вот так нежданно-негаданно открылся в беспалом талант к ремеслу. Работал он много и жадно. В каждую поделку душу вкладывал. Покупали у него охотно. В особенности молодые вдовушки. Уж очень нравился им молчаливый синеглазый резчик. Кто знает, может, и сладила бы у Заклада жизнь не с одной, так с другой. Но человек, он, известно, только предполагает.

Зимней ночью, аккурат на Крещение, вспыхнул в кожевенной слободе пожар. Горел дом покойного кожемяки Нила. Заливать огонь бросились не сразу. Кому охота в пламя

соваться, за чертова сына головой рисковать. Однако потом все же одумались, принялись тушить. Как только отпылало, стали мужики кости искать, да ничего не нашли.

Я шмыгнул носом, сдерживая слезы. Вот так история! Да зачем такие вообще рассказывают? А как же «жили они долго и счастливо»? Цыган только грустно улыбнулся и продолжил:

– Посмотрели кожемяки на пепелище в последний раз, плюнули и пошли себе по домам. Так и пропал Заклад без отпевания, без слова доброго. Канул в темноту. Словно и не было его.

Вот зима минула, весна прокатилась, лето отгуляло, а как осенняя распутица в дверь постучалась, поползли по Ельцу странные слухи. Мол, не умер резчик. Будто бы видели его у трактирщика Акзыра в подмастерьях. Будто служит он ему, словно раб, безмолвно и покорно. Скажет Акзыр «укради» – украдет, скажет «убей» – убьет. Другие говорили, работает он ночным ямщиком и вместо денег за извоз загадки загадывает. Отгадаешь – иди свободно, не отгадаешь – вопьется в горло и кровь досуха выпьет. Начали поговаривать, что неспроста дом Нила запылал, что по умыслу резчик сгорел, а теперь не успокоится, пока убийцу своему не отомстит. Так народ сам себя застрашал, что кожемяки, вину в душе ощущая, заупокойный молебен по резчику заказали. Да только все без толку. Продолжает мертвец людям являться. Вот уже и у вдовушек в гостях его видели. Бабы после ночной встречи в томлении пребывают и бледные очень, но рассказывать ничего не желают, отпираются. Еще говорили, будто на Илью-пророка среди бела дня беспалый через базарную площадь прошел, да еще с танцем. Бурлит город, слухами полнится. Собрались уже из монастыря иноков звать, чтоб те святостью своей упыря в могилке успокоили.

И снова вышло не так, как люди задумывали. Грянула на всю страну революция, и за ней война гражданская. Прошлась серпом, приложила молотом. Да так люто, что про историю с мертвым резчиком уже и не вспоминали. Самим бы вживе остаться. Потом немец нагрянул. Начались бомбежки. А как разбили врага – новая жизнь пошла. Поля за рекой домами застроили. Старое все забылось.

– А фигурки, что Заклад вырезал? Какие они были?

– Размером не велики, сработаны искусно: люди, звери разные, птицы всех мастей... Однако же более всего любил Заклад коней вырезать. Да того они у парня хорошо выходили, что, кажется, вот сейчас в галоп сорвутся. Раньше-то, почитай, у каждого в доме такая поделка стояла.

Картина начинала проясняться, загадки одна за другой открывали свою скрытую суть. Но от этого становилось только страшнее.

– Эти... муло, с ними как-то можно справиться? – У меня перед глазами неожиданно возникли персонажи гоголевских сказок: бурсак Хома Брут с меловым кругом и требником, лихой кузнец Вакула, запросто скрутивший черта. Еще смутно вспомнились дворовые страшилки, что-то про красные пятна и осиновые колы.

– Справиться с живыми можно... с мертвыми поздно справляться, – развеял мои грезы собиратель фольклора.

– Как же быть?

– Бежать. Цыгане, которым мертвяк досаждал, в другой табор просились. Муло к месту своей смерти накрепко привязан. Версты две-три... дальше ему хода нет. Раньше-то, когда пешками спасались, страшно было. Особенно под вечер. Теперь – дело другое: пароходы, еропланы, коляски скоростные – легко уйти.

– Ну а если нельзя уйти? – Я вспомнил тетю Клаву. Как она там? Все так же безвольно лежит на кровати? Или уже встала, ищет спрятанную брошь?

– Тогда плохо дело. Ночью от мертвеца спасения нет. Правда, бывали случаи, когда муло успокоить удавалось.

– Как? Как его можно успокоить?

– Напомнить ему, что умер. Как же еще? Только трудно это. У мертвеца голова точно квашня. Мысли в ней все спутаны, скомканы. Одна на другую налезает. Поди-ка попробуй верную тропку отыскать. Вот и ходит он по земле, себя не помня, другим несчастья чиня, словно...

– Словно безумный робот, – вспомнил я диафильм «Охота на Сетавра».

– Робот? – удивленно переспросил цыган. – Ну, хоть и робот. А что безумен он – это точно. И те, кто с мертвецом знается, безумием его прирастают.

– А если все-таки удастся напомнить? Что тогда?

– Живет муло против закона Божьего, словно камень в ручье. Поток не остановит, но и течь спокойно не даст. Будет вокруг него вода застаиваться, хороводы кружить, свернется смертельными воронками, выроет предательские ямы, а то и вовсе зацветет, заболотится. Течение мусора нагонит. Едва вспомнит муло про свою смерть – своротит ручей валун.

Цыган неожиданно остановился.

– Вот и дом твой. Ну что ж. Будь здоров. Может, когда и свидимся. – Он махнул на прощанье рукой, повернулся и пошел прочь, черный силуэт в зарождающихся сумерках. Мне вдруг почудилось, что цыган уже невообразимо далеко, словно между нами легла бесплотная, но нерушимая преграда.

Я с удивлением обнаружил перед собой знакомые ворота.

– Постойте! – крикнул я вслед удаляющемуся человеку. – Скажите, что мне делать?

– Сердце слушай, – донесся едва слышный шепот.

Я некоторое время неподвижно стоял у калитки и таращился на ворота, точно так же, как недавно водитель желтой «Волги». «Мертвый водитель» – услужливо подсказал невидимый суфлер. Неужели Яша и впрямь муло? Может быть, это розыгрыш, галлюцинация? Рациональное сознание попыталось отвоевать оставленные позиции. Тщетно. Страшная сказка захватила меня.

Вдруг резко стемнело, косматая, сизая туча воцарилась над городскими крышами. Роскошный абрикосовый закат бесславно почил, раздавленный этим темным приливом. Синелиловые жадные пальцы протянулись на восток, стремясь скомкать желтую улыбку молодого месяца, задуть холодные лучинки вечерних звезд. В сердце наползающей тьмы вспыхнул бледный огонь зарницы. Затем еще раз и еще... Я ожидал громового раската, но его не последовало. Вместо этого над мертвой колокольной поднялась воронья стая, взбурлила, вытянулась невиданным мостом меж землей и небом и с хриплым немолчным граем устремилась на восток подальше от грозы.

Постоянно оглядываясь, каждую секунду ожидая почувствовать хватку мертвых пальцев на своем плече, я подошел к калитке. Таясь, словно вор, принялся открывать замок.

«Старая крепость» встретила меня теплым дыханием полдня, пойманным в каменную ловушку двора. Здесь все было спокойным, привычным и после пережитых мной приключений каким-то особенно умиротворенным.

Я отправился в дом и сразу же бросился проверять тайник. Брошь была на месте.

* * *

Бабушка вернулась минут через десять. Пожаловалась на очереди, поохала на долгий путь и принялась готовить ужин. Я отправился в трапезную, сел за стол.

– Телевизор не включай. Гроза идет! – донеслось из кухни. За окном опять сверкнуло. На улице по-разбойничьи засвистал ветер. В сочетании с разыгравшейся стихией сонный

покой и уютное тепло старого дома стали почти осязаемы. Трудно было представить себе, что где-то рядом под мрачным грозовым небом бродит мертвец с бессонными белыми глазами.

Я вздрогнул. Прямо передо мной, откуда ни возьмись, возникла тарелка с рассыпчатой елецкой картошкой, исходящие паром котлеты и чашка густой домашней сметаны. Погруженный в страшную грезу, я не заметил, как бабушка накрыла на стол.

Покончив с едой, я немного успокоился. Нужно было обдумать все еще раз. Понять, где правда, а где игра воображения, и наконец решить, что делать дальше.

Я вошел в горницу, прилег на кровать. Над входом в ротонду сквозняк легонько раскачивал серую кисею паутины. Вправо-влево, с постоянством маятника...

* * *

Что-то коснулось меня, и я открыл глаза. Горница преобразилась. Стены раздались в стороны, потолок вознесся на необозримую высоту. Окна вытянулись и странно выгнулись, маслянисто поблескивая черными стеклами. Это сон! Вот оно что! Я с ужасом ждал появления Белоглазого. Однако Яша так и не пришел. Вместо этого начала медленно отворяться дверь запретной комнаты. Темная щель росла. В ее раскрывающемся зеве засверкали частые вспышки. Похоже, внутри бушевала гроза. Наконец дверь полностью отворилась, и в горницу ступила тетя Варя. Бледная, худая, с аскетичным суровым лицом. Она была одета в то самое черное платье, что так напугало меня во время второго визита в ротонду.

Тетка остановилась посреди зала, в который превратилась горница, и поманила меня к себе. Я спустил ноги с кровати и тут же оказался рядом с покойной родственницей. Из темноты явились лица прочих детей землемера. Они то явственно проступали вокруг, то становились едва заметными, полупрозрачными, точно тень дыхания на оконном стекле.

Сверху, медленно кружась, принялись падать пушистые белые снежинки. Тетка подняла руку, и в тот же миг, разорвав черную поверхность оконных стекол, к нам устремилась армия мертвых воробьев. Поток птиц поднял нас, точно прилив лодку, и повлек вверх. Я испугался, что мы врежемся в потолок, но того не было и в помине. Мгновение – и мы уже парили в прозрачном морозном воздухе. Здесь во сне царила зима. Ярko сверкали невероятно крупные звезды. В их свете заснеженный город внизу казался убежищем призраков.

Воробьи устремились вниз. Мы спускались по их маленьким холодным телам, точно катились с ледяной горы.

Вот промелькнул причудливый изгиб замерзшей реки, показался холм и монастырская колокольня.

* * *

Мы стояли перед большим добротным домом. На высокий кирпичный цоколь опирался массивный сруб из мощных смоленых бревен. Островерхая крыша была покрыта снегом. С карнизов и наличников живописно свисали сосульки. В доме светилось единственное окно, отбрасывая на сугробы золотистые блики.

– Ишь, в-волхвует, цыганская душа! – сказал человек, стоящий рядом со мной. – И чего б ему не спать? Слышь, кум, чего он не спит-то?

– Пусть его, – ответили из темноты. – Не ляжет сам – успокоим.

– Грех большой, как бы душу не п-погубить? – опасливо протянул сосед.

– Так чего ж ты шел, раз боишься?

– Да я чего? Я ж всегда с тобой. А вот ежели Акзыр не заплатит? Тогда как?

– Заплатит, как обещал, – уверенно ответил кум. – А не заплатит, мы и его... Да ты не бойсь. Это ж дела басурманские. Ежели один нехристь другого погубит, нам, православным, с того одна польза.

– Пошли, что ли? – раздался третий голос. – В кабак хочется, мочи нет.

– Тебе вечно хочется, – засопел кум. – Ну, добро, пойдем. Ты масло и запалы разложишь, а ты, Фролка, ступай сразу в погреб и яму копай. Ну а я в светлицу наведаюсь, с резчиком нашим потолкую.

Мы проникли в дом. Фролка и безымянный любитель кабаков утопали куда-то в темноту, а кум медленно стал подбираться к очерченной светом двери. Я, словно привязанный, неотрывно следовал за главарем. Вот он протянул руку и легонько толкнул дверь, открывая небольшую щель.

В комнате горела керосиновая лампа. Резчик сидел за столом, спиной ко входу. Он был обнажен до пояса. Напряженная спина блестела от пота. Черные кудрявые волосы, схваченные кожаной тесьмой, волнами опускались на плечи. Перед человеком на столе расположились знакомые костяные фигурки.

Кум медленно принялся открывать дверь. Я громко закричал, пытаюсь предупредить мастера. Тщетно. В этом месте я был нем и бесплотен. Оставалось только наблюдать. Главарь тенью проскользнул в комнату, подкрался к резчику и ударил того в затылок. Мастер упал навзничь, и я увидел наконец лицо Яши. Красивое, молодое, с тонким носом, лихим изгибом бровей и полными чувственными губами.

– Я это, того... готово, короче. – В дверь просунулась голова «пропойцы». Увидев его при свете лампы, я с удивлением обнаружил разительное сходство разбойника и нашего соседа Егорки. – Ух ты! Сколько тут всего! – Он подошел к столу и неожиданно принялся хватать и запихивать за пазуху костяные фигурки.

– Ты чего творишь, ошметок квасной?! – взревел кум.

– Что сразу кричишь? На кой они ему теперь? А у меня пацан малой, играть будет, – испуганно заканючил псевдо-Егорка.

– Не было такого уговора! – зарычал вожак, но потом задумался и добавил: – Хотя ... возьми, может, так оно и лучше. А теперь давай-ка поднимай его, понесли в подпол.

Свет внезапно померк, и вот мы с кумом уже стояли в темнеющем подвале. Главарь держал в руке факел, и в его неровном прыгающем свете было видно, как у открытой в земле могилы суетятся Фрол и «пропойца». Вместе они подтащили обнаженное тело мастера к краю ямы и медленно опустили его туда. Послышался приглушенный хруст, затем всплеск.

– Вишь, воду уже ледком прихватило, – отдуваясь, пропыхтел Фролка. – Долго он так не протянет. Дело верное.

– Сделано, – выдохнул кум, – пора и честь знать.

– Постой, а закапывать как же? – удивился «пропойца».

– Не велено. – Главарь принялся подниматься по лестнице. За ним, спотыкаясь в темноте, поспешили подельники.

– В-вот ведь басурманское семя! – прозвучал сзади ожесточенный шепот Фролки. – Даже умереть нормально не могут. Все у них с в-выкрутасами. Тьфу!

– Нечего болтать, про что не знаешь, – оборвал его кум. – Ну, робята, поджигаем и ходу.

– Жалко мастера, – вздохнул «пропойца». – Какой талант пропадает!

Тут что-то толкнуло меня в грудь, и я покатился вниз по лестнице обратно в погреб. В страхе, что так и останусь там, я беззвучно закричал. Наверху шумели, что-то переставляли и бранились. Затем все стихло, и сквозь доски пола стал пробиваться дым пополам с языками пламени. Рыжие всполохи загуляли по стенам земляного мешка, ярко очертив черный прямоугольник могилы и чуть в отдалении два деревянных креста.

Я проснулся от собственного крика. За окном беспрерывно и все так же бесшумно сверкали вспышки зарниц. Если не считать этого запыленного свечения, в комнате было совершенно темно. На соседней кровати похрапывала бабушка. Сколько же я проспал? Я встал и подошел к настенным часам, силясь разобрать положение стрелок. Оказалось, что сейчас половина четвертого.

Я остановился у окна, пытаюсь собраться с мыслями. В отличие от обычных кошмаров, все перипетии жутковатой грезы плотно сидели у меня в голове и не собирались развеваться. Я отлично запомнил мрачного кума, и пугливого Фролку, и загадочного двойника несчастного Егорки. А еще я понял, что следует делать.

* * *

Тетя Клава не спала. Лежала на кровати и смотрела в окно на безмолвную грозу. В глазах тетки вспыхивали и гасли белесые отблески.

Когда я вошел в комнату, женщина резко повернулась в мою сторону, ее лицо выражало смешение двух чувств: страха и ожидания. Увидев, что это всего лишь я, Клавдия тут же расслабилась, а через секунду сердито нахмурилась.

– Это ты? Чего не спишь? Вот смотри, Любе скажу – она тебя заругает!

– Ждали кого-то другого? – Мне важно было заставить тетку говорить со мной на равных, а не переходить к обычному диалогу взрослый – ребенок.

– Ждала? Нет, я... просто я думала... – Обычно пожилые люди врут легко и с удовольствием, но, как видно, тетка не ждала от меня прямоты и теперь мучительно искала, что бы сказать в ответ.

– Думали, что Он придет?

– Да! – с силой выдохнула тетка, но тут же спохватилась: – Что ты везде суешь свой нос, гадкий мальчишка? Приехал тут и ходит, как король. В наше время дети скромнее были. Ишь...

– За мной гнались собаки, здоровенные псы. Десять, а может, и больше. Они живут там, где Он ставит свою машину. – Я поспешил прервать поток возмущения. О, это стариковское недовольство! Оно для них и щит, и меч, и единственная отрада. Нельзя было дать тетке распалить себя.

Как я и предполагал, упоминание о стае бродячих собак совершенно выбило Клавдию из колеи. Она страшно побледнела, прижала к груди руки, комкая одеяло в судорожно сжатых пальцах, нижняя губа старой женщины мелко затряслась, словно у младенца, собирающегося плакать.

– Собаки, – прошептала тетка, – собаки... это моя вина. Я ведь всегда их боялась. Еще с детства. Меня на ярмарке чуть не загрызли...

Мне было жаль родственницу, но промедление грозило бедой.

– Клавдия Николаевна! – сказал я как можно строже, стараясь копировать интонацию зауча Геты Аркадьевны, грозы младших классов. – Вы должны рассказать мне, как вам досталась брошь. – А затем добавил, гораздо мягче: – Это очень важно. Пожалуйста.

– Это все Варя. – Тетка всхлипнула. – Как Борю моего схоронили, пришла я к ней в дом, еды сготовить, прибраться. Она-то сама уже не выходила. Очень воров боялась. Рассказала я Варе про свое горе, а сестра насчет мужниного кольца интересуется. Осталось ли? И видишь, какое дело... кольцо-то у меня и в самом деле сохранилось. У Борьки артрит был. Он его и не носил, кольцо это. Сказала про то Варе, а она улыбается. Хорошо, говорит. Что ж тут хорошего, спрашиваю? Кормилец умер. А то хорошо, отвечает, что помощник у тебя будет, Клавка, на мужа тваво похож.

– Как это, похож? – удивился я.

– А так. Чье кольцо на палец надеваешь, на того ОН походить и станет. Как первый раз позвала, думала, удар хватит: точь-в-точь муж мой покойный. Потом, конечно, пригляделась и поняла: блазня, обман. Ну так вот, рассказала мне Варя, что брошь эту сестры давно хранили и промеж собой передавали. Старшая, Зина, ее у татарина купила. Деньги, что мать с отцом отложили на черный день, все потратила, да еще отцовский землемерный прибор отдала, «трандолит» этот, или как его. Только ящик и остался.

– Зачем ей понадобился Яша?

– Был у Зины жених из кустарей. Я-то его почти не помню. Чернявый, вроде как цыган, а глаза синие. Хотели они со старшей сестрой обжениться. Кольца уже купили, да, видно, не судьба. Погиб парень. Зина после этого сама не своя. И времени много прошло, а она забыть жениха никак не может. Снится он ей ночами и на улице средь бела дня является. Изнемогла вся, осунулась. Потом вроде притерпелась. Как раз и революция подоспела. Народ, из тех, что побогаче, начал с мест насиженных сниматься. Очень комиссаров боялись. Тут, ровно черт из омута, выскакивает этот прощелыга-татарин. Морда бандитская, глаза косые. Хочешь, говорит, жениха вернуть? Ну и пошло-поехало. Продал он Зине брошь и что делать с ней разъяснил. Так и появился в доме помощник. Что ни прикажешь ему – все делает. Столы-стулья ладит, воду таскает, за огородом ухаживает. Сестры ему одежду покупали, телегу отцовскую дали, чтоб он на ней дрова возил. Еще всякие небылицы про батрака своего придумали. Чтоб соседей обмануть. И Яше велели тако ж говорить, если вдруг спросит кто. Только каждая сестра что-нибудь свое к этим басням добавляла, вот он теперь и путается. То ему палец фашист отрезал, то на рыбалке отморозил.

Как там у них с Зиной было, про то я не знаю. Меня в Липецк к родственникам отправили. Время-то голодное. Вернулась домой уже после войны. Зинаиду не застала. Умерла она в сорок пятом. Из всех нас она одна батрака любила. Остальные так... пользовались, даже имени не спрашивали. Яшей прозвали, заместо умершего пса. Вот через это нам и кара.

– А машина у него откуда?

– Это Вариного мужа «Волга». Она брошь прятала, пока супруг не преставился. Ну а как схоронили – принялась батрака звать. Думала, не придет, а он тут как тут. В ворота стучит. Тут уж Варвара весь свой характер показала. Гоняла его каждый день, да еще бранила на чем свет стоит. Муж-то, вишь как, от нее сначала в бутылку прятался, а потом и вовсе в могилке схоронился, так она себе нового нашла.

– Скажите, а те фигурки, что в Вариной комнате, вам батрак вырезал?

– Какие фигурки? – заморгала тетка. – Костяные, что ль? Да нет. Это мне Егорка притащил вместо платы за самогон. Говорил, семейная ценность, мол, от прадеда перешло. Хотел даже выкупить их потом. Да бутылка-то, она, вестимо, сильнее мужика.

– Егорка ваш в больнице лежит. Его собаки порвали.

– Собаки! – ахнула тетка. – Да что ж это... да как же! Значит, теперь и ко мне придут.

– Те собаки настоящие были, всамделишные, им через забор не пролезть. А вот Яша ваш – мертвец, вроде упыря, и если его не успокоить, тогда он из вас точно жизнь вытянет, через страхи, через сны. Да кто его знает как?

– Может, и мертвец. Ведь не может человек столько по земле ходить, – часто закивала тетка.

– Вам нужно позвать его сюда. Прямо сейчас! – выпалил я и сам испугался своих слов. Однако что-то внутри меня говорило, что это были верные слова.

– Варя сказывала, нельзя его среди ночи звать, – испуганно прошептала тетка.

– Вот, возьмите, – не слушая возражений, я протянул брошь женщине, – вам нужно только позвать батрака, а затем уничтожить палец. Лучше всего сожгите его в АГВ. Дальше я сам справлюсь. Прошу вас, быстрее!

– Какой самостоятельный! – покачала головой тетка. – Весь в деда! – Я боялся, что она начнет спорить, но Клавдия послушно открыла брошь, и я снова стал свидетелем отвратительного зрелища призыва мертвеца.

Не дожидаясь, пока желтая «Волга» окажется у ворот, я бросился в комнату тети Вари. Мой план был прост: собрать все оставшиеся фигурки и разом передать их Белоглазому, а затем рассказать ему все, что я узнал.

В темноте задев за углы, я принялся собирать фигурки в кучу и тут только понял, что мне некуда их положить. Единственной подходящей емкостью была фанерная коробка из-под теодолита. С коробкой в руках я вернулся в горницу, и тут за окном раздался шорох щебня под колесами авто. Мертвые ездят быстро.

Я прошел через темную трапезную, миновал коридор. За неплотно прикрытой дверью в кухню вспыхивали синие отблески. Тетка «оживила» АГВ. Интересно, она уже сожгла палец? Вот и поросшая замками дверь. Как же мне не хотелось выходить за порог! В этой чуждой темноте вся моя солнечная московская жизнь казалась чем-то невообразимо далеким, словно веселая история из книжки-малышки. Там на улице меня ожидало страшное, небывалое создание, чудовищное в своем всепоглощающем неприкаянном одиночестве. Забытое, искалеченное и... опасное.

Я отпер дверь и вышел в темноту. Зябкая влага тут же окутала меня так навязчиво и плотно, точно за ночь река поднялась в своем древнем русле и пошла на приступ прибрежных холмов.

В этом призрачном подобии воды я поплыл вниз по ступенькам и спустился во двор.

Что-то теплое прикоснулось к ноге. Я опустил голову. Мой приятель белый кот явился на завтрак.

– А-а, это ты. – Я хотел погладить старого знакомого, но сделать это с коробкой в руках было непросто. Едва я наклонился, фигурки внутри издали глухой перестук. В то же мгновение пушистый зверек у моих ног выгнулся дугой и яростно зашипел. Я резко выпрямился, всматриваясь в неясные контуры окружающих предметов.

Между черной громадой овина и причудливым извивом старой груши возникла чернильная тень. Вначале бесформенная, она быстро сгустилась, принимая контуры человеческой фигуры. Никаких подробностей видно не было, только силуэт в синем сумраке да жуткие светляки белесых глаз. Муло пришел сам. Трехметровый забор больше не являлся для него преградой. Я не был готов к этому и совершенно не знал, что делать дальше.

Яша шагнул во двор и внезапно поблек, словно кадр на бракованной пленке, а затем вдруг оказался в нескольких местах одновременно. Вот он стоит у груши, а вот идет ко мне через двор, поднимается по ступеням и выступает из-за угла.

Я застыл в изумлении и страхе, выставив перед собой коробку, точно щит.

– Ты! Я знаю тебя! – Голос звучал у меня из-за спины, но я боялся обернуться. – Ты – маленький лгун! – Муло сказал это мягко, даже нежно. Тонкие пальцы сцапали меня за плечо. Ощущение было такое, словно в кожу вгрызается огромная ледяная пиявка. Естественное телесное тепло извлекли из меня, точно воду из чайника. Руки отнялись, чужие, холодные, упали вдоль тела, и коробка с надписью «Т. е.о.д.о.л.і.т. ь» рухнула на камни двора. С тихим печальным стуком белые фигурки покинули свое пристанище.

Сквозь наползающее студеное забытие я видел, как муло неряшливой черной кляксой стремительно перетек к рассыпанным по двору поделкам. Темное пятно сгустилось и вдруг осыпалось точно пыль или песок, открывая фигуру водителя. Яша протянул руки и осторожно коснулся одной из фигурок. Я разглядел мимолетную зеленую вспышку, подобие видимого электрического разряда, внезапно возникшую между мастером и его изделием.

Муло опустился на колени и принялся перебирать фигурки, одни откладывал, из других формировал маленькие группки. Сейчас он напоминал ребенка, получившего подарок на кремлевской елке и выбирающего конфеты повкуснее.

Водитель постоянно что-то бормотал.

– Этого? Этого за целковый отдам, а этих двух берите за четыре... – Он вдруг вскочил и с учтивым полупоклоном протянул фигурку кому-то невидимому. – Это тебе, принцесса. Подарок. На счастье, на легкую судьбу! Сестре своей старшей от Степы Василькова привет передай. Запомнила?

«Степа! Степан. Вот настоящее имя мастера!» Я попытался сдвинуться с места и почувствовал, что оцепенение постепенно отступает.

Муло тем временем взялся за другую фигурку и тут же отпустил ее, с криком схватившись за голову.

– Больно! – вскрикнул мастер. – Ай, как больно! – Он отнял руки от затылка, разглядывая их. – Кровь! У меня голова в крови. Отчего, а?

– Это кум вас ударил! – прохрипел я, пытаюсь совладать с непослушным языком. – А потом Фролка с прадедом Егорки дом подожгли, а вы... вас в яму положили.

– Помню... – тихо сказал муло, – помню холод, и темноту, и огонь высоко-высоко.

– Это пол горел, я видел. Вы тогда... вы умерли, Степан.

– Видел? – взревел водитель. – Значит, ты был там? Ты виноват во всем!

– Нет! – в ужасе закричал я. – Это было не вправду. Во сне!

– Жизнь – это сон, – сказал муло, – горький сон. Я проснулся. Сейчас и ты проснешься!

Он мог двигаться куда быстрее, но шел ко мне нарочито медленно. Темный покров окутал тело водителя до пояса.

Я попятился назад и уперся в стену дома. «Не получилось», – пронеслось у меня в голове. В ужасе я стал шарить по карманам, пытаюсь найти камень или мелкую монетку. Хоть что-нибудь. Кинуть в надвигающегося монстра. Отвлечь его, а затем бежать. Куда угодно, только подальше от этих холодных рук, от этих белых глаз. Внезапно пальцы нащупали в кармане тонкий уголок сложенной бумаги. Счастливый билет! Я рефлекторно сжал этот ненадежный оберег. Где-то в глубине моего скованного ужасом сознания зародилась и окрепла беспочвенная детская надежда на счастливый финал. Я зажмурился, но оказалось, что мои веки вдруг стали прозрачными. Плоскость двора, контуры овина и груши исчезли. В серой пустоте ко мне приближался муло, молодой мастер в кожаном переднике, с перекошенным злобой лицом. В его руке холодно и хищно поблескивал инструмент. Вот сейчас он подойдет и начнет вырезать по живому.

Внезапно между мной и мертвецом возникла маленькая девочка в голубом платьице и легкой белой шляпке, из-под которой выглядывали локоны коротких светлых волос.

– Принцесса? Клавдия? Неужели это ты? – Мертвый резчик остановился. – Что ты здесь делаешь?

– Моя сестра просила позвать тебя в гости, – зазвенел валдайским колокольчиком голос маленькой модницы. Мне показалось, что от ее слов серый сумрак вокруг немного посветлел. Из пустоты проступили контуры овина, флигели, каменная тропка. Они казались новыми, ухоженными.

– Зина? Зина звала меня, – неуверенно произнес мастер.

– Идем со мной. – Девочка протянула ему тонкую, точно фарфоровую, руку. Мужчина осторожно взял маленькую ладошку. Вместе они пересекли двор, направляясь к протяжному столу, стоящему в тени старой груши. Там вокруг самовара собрались дети землемера. Я разглядел веселые лица Надежды и Акулины, Варвару с сурово поджатыми губами. А вот и глава семьи вместе с супругой. Они точно сошли с семейного фото. Навстречу мастеру поднялась статная, удивительно красивая женщина. Зинаида...

Крупная холодная капля упала мне на лоб, и я невольно открыл глаза. Странное видение исчезло. Я находился во дворе. Передо мной лежала пустая коробка. Фигурки исчезли вместе с мастером. Дождь усиливался, барабанил по камням двора, по крыше старого дома. Небо больше не держало слез. Над долиной Ельчика хлестнула сверкающая плеть небесного огня. Тяжкий удар грома не заставил себя ждать. Вслед за этим на Елец, обгоняя рассвет, рухнула стена неистового ливня.

Я моментально промок до нитки и поспешил в дом. На кухне было тепло. Колонна АГВ излучала жар. В полумраке я увидел лежащую на полу тетю Клаву.

Я бросился к ней, наклонился, прислушиваясь. Клавдия была жива.

Карина Андреевна очень удивилась моему визиту. К счастью, она не спала и быстро поняла, что хочет от нее мокрый настырный мальчишка. На мой вопрос, умеет ли она водить машину, пожилая женщина даже немного обиделась. «Я ветеран труда! – с достоинством заявила она. – Двенадцать лет автобус водила, а с вашей «Волгой» как-нибудь справлюсь».

Мы мчались через просыпающийся город. Вдоль улиц, навстречу нам, бурля и вскипая водоворотами, струились бурые потоки воды. Казалось, что город ворочается под этим холодным душем, сбрасывая с натруженных плеч ношу застоявшегося, перебродившего времени. Внезапно сквозь пелену ливня пробились жемчужные лучи восходящего солнца, и мы – люди, машины, деревья, дома – на мгновение словно зависли в этой сверкающей прелюдии нового дня.

Я сидел на заднем сиденье. Голова тети Клавы покоилась на моих коленях. Белый калач в завитках коротких седых волос. На виске пульсировала маленькая синеватая жилка.

* * *

Мы с бабушкой вернулись в Москву. Я вырос, окончил институт, устроился на работу. Давняя история почти забылась. Лишь изредка вспоминал я то странное лето, сонные улицы Ельца и могучий ливень, смывающий старое время. Вести от родственников доходили с редкими телефонными звонками и открытками к праздникам. Старый дом продали, и тетя Клава переехала в другой город. Вовка пошел по военной стезе, стал офицером. О цыганском сказителе мне ничего узнать не удалось.

Вчера ко мне в дверь позвонили. Когда я вышел на лестничную клетку, там было пусто. Вдруг что-то привлекло мое внимание. На нижней ступеньке лестницы стояла маленькая костяная фигурка, бегущий конь.

Сергей Анисимов Лишний

По некоторым соображениям этического порядка я не мог опубликовать это интервью на сайте «Я Помню» (www.iremember.ru) в разделе «Пехотинцы». Почему? Думаю, вы поймете сами, когда прочтете приведенные ниже воспоминания.

И.А.: Меня зовут Акимов, Иван Федорович. Я родился в 1921 году в городе Новониколаевске так называемого Сибирского края, – сейчас это Новосибирск. Тогда это был сравнительно небольшой город, но главное впечатление моего детства – это непрерывное бурление жизни, непрерывное строительство. Еще когда я был маленьким и учился в начальной школе, в городе построили вещающую на всю Сибирь крупную радиотелеграфную станцию, завод радиодеталей, химический завод, реконструировали и во много раз расширили металлургический. Тогда же по городу был пущен автобус, построено большое количество многоэтажных домов, полностью преобразивших город моего детства. Мой отец, Федор Адамович, работал слесарем в механической мастерской, а с 1929 года – мастером механического цеха на заводе «Сибкомбайн», мама работала швеей в ателье на улице Ленина. Жили мы, как я понимаю, совсем не плохо, – хотя по нынешним меркам нас сочли бы бедняками. Но, во всяком случае, мы не голодали, были нормально одеты, а у моего старшего брата даже был свой собственный велосипед, что тогда считалось редкостью.

На товарной станции и вокзале в те годы непрерывно гудели и пыхтели паровозы разных марок, и моим любимым развлечением, помню, было смотреть на все это движение. Я знал назубок все типы существовавших тогда локомотивов, дружил с железнодорожниками, выполнял какие-то их несложные поручения и уже классу к пятому или шестому был полностью уверен, что тоже стану железнодорожником. Помню, что родители, с которыми я делился своими желаниями и планами, совершенно не препятствовали моему увлечению, хотя я частенько приходил домой грязный, в испачканной угольной пылью или следами масла одежде. Наоборот, они поддерживали меня, особенно отец: профессия железнодорожника тогда считалась очень уважаемой. Ближе к старшим классам я решил стать не просто машинистом, а железнодорожным инженером, – «инженером-путейцем», как тогда говорили. Опять же, отец меня твердо поддерживал: он сам был рабочим человеком, хотя и без образования, и мой выбор ему понравился. Чтобы осуществить свою мечту, я решил ехать в Читу поступать в Забайкальский институт инженеров железнодорожного транспорта или в такой же институт в Хабаровске. У нас в Новосибирске был свой собственный институт инженеров железнодорожного транспорта, это был бывший факультет Сибирского института инженеров транспорта, размещавшегося тогда в Томске. Но в 1934 году его сделали «Институтом военных инженеров транспорта», а быть военным мне не хотелось. Чтобы стать инженером-путейцем, конечно же, надо было очень хорошо учиться в школе, и я приналег на учебу. Хотя круглым отличником я не стал, но по математике, физике, химии, русскому и немецкому языкам у меня были только отличные отметки, – да и по физической культуре тоже. Как и все пацаны, я много времени проводил на Оби, отлично плавал несколькими стилями, зимой лихо гонял на коньках и лыжах, а летом до темноты носился по футбольному полю. Позже, когда в нашей школе началась допризывная подготовка и нас начали водить в тир и на стрельбище, я научился отлично стрелять. На моей груди висело несколько значков, включая «Ворошиловский стрелок 2-й степени», и это было предметом моей большой гордости и зависти многих моих товарищей: значок 2-й степени давали только за выполнение норматива по стрельбе из боевой винтовки. Еще у нас с братом на двоих была одна

собака, сука овчарки, которую мы потом сдали служить на границу. Ее звали Гайра, и это была умнейшая собака, все понимала и даже смеялась всей пастью, когда мы шутили. Как я ее любил!

Что еще сказать? Я рос третьим ребенком в семье, а вообще у меня было четверо братьев и сестер. Войну пережили только я и самая младшая сестра, хотя она тоже искалеченная вернулась. Обычное дело... Отслужив срочную, старший брат к 1941-му был уже в запасе, работал на металлургическом заводе. Хотя у него была «бронь», но к зиме 1941 года он как-то сумел добиться призыва, ушел на фронт рядовым, и почти сразу же, как я теперь понимаю, погиб. Тяжелое было время, самое тяжелое... Второй брат и старшая из двух моих сестер погибли в 42-м, почти одновременно. Уцелевшую младшую сестру, ее зовут Ира, тяжело ранили в 1943-м на Курской дуге. Вражеский самолет «Хеншель» проштурмовал ее санитарный поезд, и ей крупным осколком очень тяжело повредило бедро и коленный сустав; нога потом так и не восстановилась. Она живет сейчас в Омске, куда уехала к мужу. И еще у старшей сестры ее вдовый муж погиб – почти в конце войны, уже в 1945 году, в бою с какими-то окруженцами. А двоюродных братьев и сестер, дядек, – этих и сосчитать сложно, сколько полегло. В Сибири семьи тогда большие были, мужиков много было, девок молодых, – и почти все воевать пошли. Очень немногие, кто в моей семье вернулся с войны живой и непокалеченный... А отца вот не взяли, как он ни бился. Его завод тогда день и ночь собирал истребители, и на отце слишком многое в работе цеха держалось. Я помню, как он переживал, даже после войны: так и не пошел воевать, хотя буквально бился за это, – а двое сыновей и дочка полегли...

С.А.: Про себя расскажите, пожалуйста. Как вы пошли в армию?

И.А.: В отличие от многих моих товарищей по школе, по двору, я не собирался идти после школы в военное училище. Хотя тогда это было не просто модно, это было почти повсеместно, что ребята после школы шли в танковые, в летные, в военно-морские училища. Особенно спортивные ребята, заводили, кто хорошо учился, капитаны дворовых футбольных и волейбольных команд. Другие выбирали пехотные, авиационно-технические и так далее, кому что нравилось. Кавалерии уже тогда мало было, а у нас город индустриальный, и мы все уже в те годы на моторы больше полагались, чем на лошадей. Меня тоже и ребята звали поступать с собой, и преподаватель военного дела очень нахваливал, каким хорошим командиром я могу стать, – но я твердо сделал выбор и стоял на своем. Мы все, кстати, прекрасно знали, что скоро война будет, но мне как-то казалось, что может обойтись. Хотя трусом я не был, конечно: мне и драться приходилось, и все такое. Город у нас был хулиганский, ребята крепкие, и драки у нас бывали будь здоров! Хлюпиков мы презирали. Но все по-честному: со спины не нападали, упавшего не били, втроем одного тоже не сметь. Здорово было, как я сейчас вспоминаю! Лихо! *(Смеется.)*

Ну вот. В 1939 году я окончил 10-й класс и подал документы в Забайкальский институт инженеров железнодорожного транспорта, про который я уже говорил. Все экзамены я сдал успешно, и даже немецкий язык, за который опасался, – и меня приняли. Один год я отучился, жил в общежитии, – но потом мне пришла повестка, меня призвали в армию. Что ж, мне это тогда все было понятно. Прошла тяжелая финская война, в Читу в госпитали привозили тяжелораненых. Были конфликты на южных рубежах, все время сообщали о провокациях на западной границе. «Освободительный поход» в Бессарабию, конечно. В общем, я тогда сам для себя решил, что если меня призывают, значит, правительство понимает, что подготовленные солдаты сейчас нужнее стране, чем будущие инженеры. Большая война могла вот-вот начаться: или с Японией, или с Германией, – а мне еще сколько учиться было! Я прошел две комиссии, медицинскую и мандатную, и меня направили в пограничные войска НКВД.

С.А.: Что было на мандатной комиссии?

И.А.: Ну, мы заполняли документы, формы, анкета была довольно подробная. Всех строго спрашивали про успехи в учебе, про склонность к каким-то определенным предметам, про спортивные успехи. Про родителей, конечно, про родственников. Но мне бояться нечего было – отец мастер, старший брат рабочий, мать швея. Остальные братья и сестры еще школьники, родственники – сплошь рабочий класс: слесаря, кузнецы, шофера. Родители отца были тоже рабочий класс, а мама была сиротой, ее бабушка одна вырастила, потому что ее муж, мамин отец, погиб на Оби еще до революции. Что касается меня, то я хотя был и не особо высок ростом, но был хорошим спортсменом, отлично стрелял, бегал, – в том числе и на лыжах. Член ВЛКСМ, конечно. И то, что я уже стал студентом по технической специальности, – это тоже считалось очень важным. Большинство призывников в те годы были, конечно, деревенскими. И хотя они были крепкими, здоровыми ребятами, я имел над ними большое преимущество в образованности, в технической грамотности. В общем, когда мне сказали, что направляют меня в пограничники, я особо не выкаблучивался. Надо, значит надо!

Учили нас, надо сказать, здорово, – просто здорово. Все молодые пограничники были отличными спортсменами, нас учили драться руками, ножами, штыком, даже лопатками и топориками. Учили многим видам оружия, в том числе иностранного производства, например германским «Бергман» MP-18/I, MP-38, чешским системам стрелкового оружия. Это все мы умели разбирать и собирать, устранять неисправности оружия, стрелять из него. Стрелковой подготовке очень большое время уделялось! Учили немецкому языку, и не *«Anna und Marta baden. Anna und Marta fahren nach Anapa»*, а как быстро выяснить у пленного, где командирский блиндаж, где проложен кабель связи, – таким вот вещам. Именно там я научился водить мотоцикл и машину, хотя это ни разу мне потом не пригодилось, и до сих пор вот не понадобилось... (*Усмехается, вытягивает вперед протез кисти руки.*) Политическая подготовка, разумеется, – этого тоже было много. И мы серьезно к ней относились, без смешков каких-нибудь. Не фланили. Еще с собаками нас учили обращаться – как вести собаку по следу, и наоборот: как сбить со следа, как драться с собакой. Это мне совсем легко было, я все свою Гайру вспоминал. Даже какие-то основы психологии нам преподавали: как допрашивать, как узнавать, что человек тебе врет. А все остальное – это, конечно, сплошь физподготовка: бег, рукопашный бой, плавание, силовые упражнения. Я вот гирями тогда увлекся.

В общем, когда меня отправили на западную границу, я был уже вполне подготовленным бойцом и пользовался некоторой известностью как спортсмен. Я имел призовые места по стрельбе и легкой атлетике и категорию по шахматам, между прочим. Девушек это все впечатляло, как я помню. (*Смеется.*) Тогда девушки правильные были, – им требовалось, чтобы парень был красивый, спортивный и умный, чтобы разговор мог поддержать. Этого всего было достаточно! А что я был не командиром, а «отделенным командиром», – это было неважно. Я был в том возрасте, что мог и до генерала дослужиться, если повезет.

Граница... Да, это серьезное было дело, конечно. Мы там ворон не ловили. Самые настоящие были перебежчики. Самые настоящие шпионы. Прочие «нарушители пограничного законодательства», как у нас их тогда именовали. За год службы на заставе № 2 сам я ни одного шпиона или перебежчика не поймал, – что с нашей стороны, что с той. Но практику получил хорошую. И стреляли в нас с той стороны, из-за речки, и собак наших местные травить пытались. Всякое было. Непростое было время. Предгрозовое – это ясно чувствовалось. Как пролетит над головой разведчик с крестами – так смотришь на него и думаешь: «Ну, сколько ты нам еще дашь, сволочь? Месяц? Два месяца?» Потом наши «ястребки» нагонят его, ведут обратно к границе, будто заблудившегося, а мы все смотрим, и у каждого, глядишь, желваки под кожей ходят.

С.А.: То есть действительно понимали, что война будет?

И.А.: Не просто понимали. Знали. Считали буквально недели. Пограничники-то непрерывно в боевой готовности находились, причем не только заставы, а все войска. В апреле 1941 г. меня перевели в штаб нашего погранотряда, который располагался в Гродно. Это был 86-й пограничный отряд Западного пограничного округа. Там я это все уже, можно сказать, с колокольни видел.

С.А.: Что для вас показалось самым важным за этот год?

И.А.: Самым важным? Верить себе, пожалуй. И другим. Если я иду по дороге с нарядом, и вот что-то не нравится мне придорожная канава, самая обычная, – я тут же жестом подаю команду «Внимание!». Не стесняясь того, что надо мной смеяться будут, понимаешь? Один «держит» эту самую пустую и открытую на все стороны канаву оружием, один обходит, один прикрывает обходящего. Кровь кипит буквально, в ушах чуть не булькает, – что там, кто? Каждую черточку на грязюке видишь. И вот обходишь ты эту канаву, проверяешь ее, и понятное дело – никого там нет. Но вот то место, где час назад кто-то сидел, ты буквально чувствуешь метров с десяти. «Читаешь» его. Прелые листья чуть примяты, травинки повернуты наискось: конечно же, этого мне ничего видно не было с дороги, но ведь почувствовал же как-то! Начинаешь копать – раз, сигаретный окурочок под листья закопан. Свежий еще, белый, горелым табаком пахнет. Значит, не шпион и не наш, из проверяющих, – профессионал не будет курить в таком месте. Уже легче. Ну, дальше все как учили. Натуральная работа. Иногда ловили даже не шпиона или контрабандиста, а просто дурака какого-нибудь в погранзоне, – с ним потом без нас разбирались, это нормально все было организовано. Но полученную перед строем благодарность за найденный под листьями окурочок – вот это я на всю жизнь запомнил. В том смысле, что надо себе верить, своим чувствам. И на всю жизнь я с собой это убеждение пронес, до самой главной истории в своей жизни, – я еще расскажу об этом дальше.

Как война начиналась? Где-то в час ночи 22 июня 41-го нас подняли по тревоге, весь личный состав. Мы разобрали оружие из пирамид, получили боеприпасы, включая гранаты «РГ-41» и «РПГ-40», противогазы. Часть находившихся в распоряжении штаба погранотряда подразделений сразу автотранспортом выдвинули к границе. Одну сводную роту под командованием капитана Тимофеева оставили в расположении штаба, и вот всех вместе нас там и накрыло, когда началось. Как стало ясно, немцы прекрасно знали, где располагался штаб погранотряда, и в 6 утра звено пикировщиков положило три полутонных бомбы прямо под стены штабного домика. А ведь он был замаскирован на окраине городка как «просто так себе домик», беленький такой. Бункер под тем домиком был рассчитан на тонну – вот этого они не знали. Хотя человек десять погибло, начальник отряда уцелел, и большая часть командиров. Завал мы бы не растащили, но они выбрались через второй выход, метрах в пятидесяти был бетонированный колодец с крышкой, оформленной под беседочку. Но все в мелу были, в грязи, в крови. У кого кровь из носа течет, у кого из ушей... К этому времени бои на границе шли уже часа два: первой их волне ребята хорошо кровь пустили. С подготовленных позиций они неплохо десантников проредили, молодцами. Ну, а потом наша очередь пришла. Все все понимали, конечно. Пограничные войска в принципе не могли отразить вторжение, у нас была другая задача. Задержать противника на часы, чтобы успели по тревоге получить оружие и боеприпасы уже собственно войска, армейцы. Чтобы танкисты машины свои из парков вывели, чтобы артиллерия за тягачи уцепилась, – и вот уже тогда война пойдет. Мы ведь что думали? Что у нас такая силища позади, такая мощь! Что нам, советским людям, главное дать размахнуться как следует, – и никто перед нами не устоит, всех снесем, раздавим к такой-то матери! Понимаешь? Нам по 18–20 лет было, и мы не дураки были, в погранвойсках-то. Мы абсолютно ясно понимали, что вот сейчас мы все погибнем, в этом бою, – но все равно, такое настроение было! Бодрое, боевое! Мол, «Эх, ну

сейчас мы подеремся, покажем вам, суки! Пусть ляжем, но как ребята подойдут, от вас от всех мокрое место останется!»

С.А.: Мне уже приходилось такое слышать. Даже похожими словами.

И.А.: Слышать... Мне 20 лет было, ни одного прыща на роже, мышцы гимнастерку распирают. Комсомольский билет на груди, винтовка «обр. 1891/30 г.», боеприпасы, холодное оружие, все как положено. Мы просто не могли оставаться на месте, когда ребята там впереди дерутся. И хорошо, что начальник отряда, пусть контуженый, не стал роту раздирать. Понимал, конечно, что смысла нет, взводами заставы не выручишь, а один хороший удар – это хоть какой-то результат может дать. В общем, часам к 7.30 мы пешим порядком вышли в район расположения одной из наших застав, где было особенно жарко. В других уже затихало, если по звукам судить, а здесь все ревет, грохочет, лязгает, – как в механическом цеху у бати. Немцы, конечно, были в 1941 году лучшей армией в мире. И не просто наглыми они были, а действительно умелыми вояками, ничего не скажешь. Но мы тоже были не лыком шиты: погранвойска НКВД – это не саперы какие-нибудь, мы драться тоже умели. В общем, капитан Тимофеев вывел мой взвод прямо на жопы фрицевской пехоты, которая так умело и деловито была наших ребят, отстреливающих из остатков «подковы» к северу от заставы, и дожигала саму заставу. Начали мы с того, что тихо и спокойно перекололи расчеты минометов, которые наших закидывали этим своим добром... Калибр небольшой, главное, но скорострельность великолепная, а точность просто удивительно какая. Много мы горя навидались от этих «самоваров» за следующие годы... В общем, когда немецкие минометчики оторвались от своих бандур и обернулись на наш топот, мы уже были от них в каких-то метрах. Тогда-то я первого своего взял, – так сказать, окупил себя на всю будущую войну. Не буду врать, ни лица не запомнил, ни цвета глаз или прочего, – просто серая такая фигура, четкое осознание того, что это враг, – и на бегу я в него штыком даю по самую мушку. Нас учили, как правильно колоть, но я ничего не думал, что бить туда-то, на какую глубину, чтобы штык не застрял... Просто дал, разворотил ему бок к той самой его немецкой бабушке, выдрал, – он падает. Добил одним уколом уже в грудь, в ребра, – и пошел на следующего. Ребята работают, хруст стоит, хэканье, как на лесоповале. Ух! Долго потом мне эти звуки снились... А тогда ничего...

Ни одного выстрела не было, но немцы быстро прочухались, ничего не скажешь. И когда мы с минометчиков слезли, первый взвод уже всюю с пехотой воевал. Капитан опять всех выручил. Если бы мы залегли, начали перестреливаться, – там бы все и остались, без толку. А он долго не думал: «Второй взвод, развернуться в цепь, влево! Третий взвод – вправо! В атаку, за мной, ура!!!»

С.А.: «За Сталина» не кричали?

И.А.: Нет, только «ура» и мат. В общем, прямо через огонь мы как побежали... Каждый шаг под ногами, – как последний. Пули свистят слева, справа. Кто-то валится рядом, кто-то вопит. И сам вопишь, как чумной, – чтобы страх заглушить, ясное дело. И страшно уже стало, и все равно весело, вот что было интересно. Из винтовки на бегу не постреляешь, но один-два «ППД» на отделение у нас были. «ППД-34/38», хороший пистолет-пулемет, с мощным патроном, только тяжеловат и не такой надежный, как «ППШ» потом. Магазин был коробчатый, – «рожковый», как у нас говорили... Добежали, те навстречу поднялись уже. Гранаты шарахнули, и тут же мы с ними сцепились, начали резаться... Тут уж не до выступлений о патриотизме, тут сразу видно, кто чего стоит. У пехотных немцев образца 1941-го были стальные нервы, без шуток. Умели они марку держать, надо им отдать должное. Не хуже нас были бойцы. Уже и видно было, чей верх, а ни один руки не поднял. Нас раза в полтора больше было сначала, но пока мы через автоматы прошли, силы вроде как и сравнялись. Нам бы хуже пришлось, если бы ребята с заставы им в спину не дали. Поднялись из окопов, и своей жидкой цепочкой на нас их погнали, причем с таким ревом, будто дивизия

идет. Я еще двоих взял: обоих «штыком и прикладом». А что, прикладом не хуже, чем штыком можно действовать, если сила есть и глаз верный. Мне бедро чуть поцарапали, едва-едва под кожей прошло, даже не больно было. И еще на каске была ссадина и вмятина, будто самому прикладом дали, но я не помню ничего. Как будто сама собой эта вмятина появилась. Нет, не помню.

Потом мы отходили, конечно. На всю жизнь мне эти дни запомнились. Уцелевшие ребята с заставы с нами отходили, все черные от копоти, жуткие. Еще я запомнил, что с нами женщина была, и не медик, а жена одного из командиров, не помню фамилию. Он еще в самой «подкове» погиб, а она с нами шла. Немцы по пятам, конечно, – и не просто по пятам, а уже спереди, с обеих сторон. На Гродно мы уже не пошли, пошли вбок куда-то. Петляли как зайцы. Останавливались, когда совсем уже некуда было, давали огня, потом снова выдвигались как-то. Жуткие дни... Жажда непереносимая, – вот что мне запомнилось особо. Даже убитых я так не запомнил, даже стычки, как жажду. Июнь 41-го был холодным, вообще-то, но вот так мне это запомнилось, на всю жизнь...

Числу к 25-му я стал уже младшим командиром взвода, но это все условно было, конечно: к тому времени от сводной роты штаба погранотряда и остатка личного состава пограничной заставы нас оставалось человек 30–35. Сначала мы хоронили убитых, потом и это делать перестали: немцы у нас прямо на штанах висели, когда мы через леса продирались. Но раненых мы выносили, как могли. 27 июня и меня ранило, в одной из стычек. И сразу тяжело... Я как взглянул на свою руку, так сразу и понял, что отвоевался. В медицине я не понимал ничего, конечно, но и так было ясно: все, инвалид. Одно хорошо, – ноги были целы, и я никому обузой не стал. Товарищ как-то обработал мне обе раны, замотал руку марлей, просто поверх всего, – и пошел я дальше, только зубами от боли скрипел. Гранатную сумку я под левую руку перевесил, – думаю: «Подорваться и одной рукой сумею, если что». Худо мне было, чего говорить, – и лихорадка пошла, и жажда еще пуще: вроде и пьешь из ручьев, бочагов, а все не напиться никак. Но уже через пару дней мы соединились с пехотинцами из состава 56-й Стрелковой дивизии, силой до неполного батальона, – а позже к нам присоединились артиллеристы, и еще танкисты из 11-го мехкорпуса, но без танков. Там уже и военврач был, и командиры, и вообще воля чувствовалась: у нас сразу настроение поднялось как-то, хотя мы все так и отходили на восток. В общем, где ползком, где с боями, к концу второй недели июля мы добрались до линии фронта, и одной группой сумели пройти ее ночью даже без большого шума. От нас, пограничников, вышло к своим человек 20, во главе с тем же капитаном. Мы были уверены, что он орден Ленина получит как минимум, но награды тогда никакие не давали: за что давать, если войска отступают?

С.А.: Проверка какая-нибудь была?

И.А.: Была, но ничего особенного. Мы вышли с оружием, с ранеными, с трофеями. Я сам был ранен, но нести меня не пришлось, и винтовку я не бросил. Документы сохранил, комсомольский билет. Чего меня проверять? Так что меня быстро отправили для начала в ближний госпиталь и прооперировали, сделали хорошую культю. Но там я и двух суток не провел, – меня тут же дальше в тыл. Думал: все, отвоевался... Но настроение было, знаешь... Не скажу, что совсем уж убитое. Во-первых, я свой долг выполнил. Троих врагов в ближнем бою, а может и пулей кого-то добыл, не знаю. За всю войну я больше ни одного врага не убил, а в 41-м вот успел. Интересно, что холодное оружие за войну давало десятую долю процента от всех ранений, – но у меня вот так сложилось, как я рассказал. Ну, а еще что? Я все-таки остался не совсем калекой. Мне ампутировали кисть руки, пусть и правой, – и вторая рана прищлась в мякоть той же руки, в плечо. Но у меня были целы обе ноги и вторая рука, была цела голова. Я был еще молодой. Понятно, что война идет страшная, каждый человек на счету. Я четко понимал, что надо пользу приносить! Так нас воспитали, что никаких сомнений у меня не было. Думаю: ну ладно, путейца теперь из меня не получится,

как я чертить буду? Но преподавателем после победы я всегда успею стать или даже завхозом каким-нибудь. На худой конец – даже сторожем на складе, лишь бы у матери с отцом на шеях не сидеть. А пока, может, инструктором в школу сержантов возьмут или в какое-нибудь училище. Или еще куда, где и с одной рукой можно служить.

В отпуск домой съездил. Мать плакала, конечно... Старший брат на меня посмотрел, только лицом потемнел. Он, верно, думал, когда уходил, что и за меня сквитается, а оно видишь, как сложилось...

Через полгода комиссия; я прихожу, докладываюсь, как положено. А мне говорят... Не помню, честно сказать, как мне это объяснили, – но после того, как меня выслушали, мне предложили то, чего я никак не ожидал. Дескать, «мы вас откомандировываем в распоряжение Управления кадров НКВД СССР для дальнейшего зачисления на курс подготовки среднего начсостава школы пограничной охраны НКВД». Там все было решено, как я понимаю, – но они сначала меня выслушали, убедились, что я не хочу комиссоваться. Надо сказать, в те годы это было обычным делом: мне встречались вояки и без рук, и без ног, и без глаза. И не только продолжающие служить в тылу, в той же нашей школе, – но и на фронте, пусть и не на передовой. Я, кстати, уже левой лапой царапать по бумаге научился к этому времени, так что не совсем безграмотел.

В общем, после очередной медкомиссии я отучился три месяца в 4-й школе пограничной охраны НКВД, которую эвакуировали из Саратова. Старший комсостав пограничной охраны готовила Высшая школа НКВД, бывшая Высшая пограничная школа, а средний – три школы пограничной охраны: 2-я, 3-я и 4-я. 1-я же школа еще до войны была преобразована в военно-политическое училище пограничных и внутренних войск НКВД. Поступил я в школу в звании младшего командира взвода, а после выпуска я получил звание лейтенанта НКВД, две «стрелки» на петлицах. О, я гляжу, как выражение лица изменилось...

С.А.: Вам показалось, Иван Федорович. Я ведь уже знал, что вы в НКВД служили.

И.А.: Да, я говорил. Мне обидно просто, что как скажешь, что боец НКВД, так все сразу морщатся. А мы ведь важным делом занимались! Вот я, кстати, был уверен, что меня на Дальний Восток отправят или на южные рубежи. Служил бы на заставе какой-нибудь, или даже в штабе, или учил бы бойцов. Или пусть даже пограничных собак обучал, мне это всегда нравилось! А вместо этого меня снова направили на фронт. Я стал оперуполномоченным особого отдела в 1-м батальоне 615-го стрелкового полка формируемой тогда 167-й стрелковой дивизии. В просторечии – «начальником особого отдела», хотя никаких особых отделов на батальонном уровне не имелось, конечно. Был уже 1942 год, тоже время будь здоров. Немцы рвались к горам, к нефти, к Волге. На фронте было тяжело, прямо скажем. Очень трудно было. Дивизию формировали и сколачивали в районе города Сухой Лог под Свердловском, где потом была знаменитая комсомольская стройка. К июлю 1942 года дивизию эшелонами отправили на фронт, и мы заняли оборону сначала у Задонска, а потом в районе Суриково. Это под Воронежем, к северу от города.

Что сказать про свою работу? Как оперуполномоченный батальонного звена, я имел задачу помогать командиру части и политруку батальона поддерживать высокое политическое и моральное состояние части, выявлять изменников, шпионов, диверсантов, террористов, паникеров, лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Вот это так по-книжному звучит, да? А ведь и шпионы, и изменники, и диверсанты были самые настоящие. И паникеры тоже: один паникер мог столько вреда принести батальону, сколько немецкая артбатарея не надеется. Рядом снаряд разорвется, а он: «Ой! Ай! Братцы, пропадем мы! Бегите, пока всех не убило! Тикайте!» Дивизия-то необстрелянная была, с нуля в тылу сформированная, у бойцов глаза навывкате каждую минуту. А немцы такого случая не упустят, – тут же нащупают слабый участок, тут же дадут прикурить славянам... Так что я с самого начала так дело ставил, что каждый красноармеец знал: хочешь попаниковать – паникуй молча, уполномочен-

ный тебя видит. Думаешь дезертировать – лучше сразу передумай. Да, пусть лучше меня, злого, боится. Пусть лучше бойцу от страха передо мной ничего такого в голову не придет, чем все будет добренькими, а полк разбежится после первой бомбежки!

Мне что хорошо было – я еще на формировании в батальон пришел, имел время себя поставить и с командирами, и с рядовыми красноармейцами. Еще раз: я был кадровый боец, принявший войну на границе, – у меня в глазах было, что я вражьей крови попробовал, что я сам не побегу и другим не дам. А что без руки – так этого мне стесняться было нечего: не под трамваем потерял. И это я не хвастаюсь, я рассказываю, как было.

Под Воронежем нам пришлось тяжело. Молотили нас немцы в хвост и гриву, что сказать. Головы не поднять было. Дивизия пятилась, цеплялась на какие-то дни, потом дальше пятилась. Превосходство немцев в артиллерии и авиации было подавляющим, и наши войска несли большие потери. В обороне тогда как было: если немец наступает, то мы круглые сутки или держимся, или отступаем. Что поделаешь. А если и немец в обороне, то мы можем полночи воевать, а полдня отсыпаться потом, – вот так было принято. И вот в самом конце августа, когда мы к северу от окраин Воронежа все за развалины цеплялись, приходит ко мне утром в блиндаж старший лейтенант Сауков, командир 3-й роты. Батальонный оперуполномоченный – это не тыловик; штаб батальона – это одно название, он располагался обычно метрах в пятистах от «линии боевого соприкосновения», от передовой. Штаб полка – это уже две тысячи метров, скажем; а дивизии – уже как минимум все пять, минометами уже не достанешь, да и не всякой артиллерией тоже. А на нас все валилось. Но какой-никакой блиндаж у меня почти всегда был, иногда пополам с начштаба. И вот Сауков стучится ко мне, заходит, – и стоит, мнетя. Ну, мне это дело понятно было. С одной стороны, если кто-то у него без вести пропал или дезертировал, – за это ему втык. С другой – если он узнал, что кто-то из бойцов ведет антисоветскую агитацию или нашел у кого-то немецкую листовку и не сообщил мне об этом, скрыл, – то в случае чего он остается сам-один виноватый. Так что я думал, что тут что-то такое, более-менее обычное. А он мне рассказывает: объявился у него в роте лишний красноармеец.

У нас иногда случалось, что в строй ставили бойца не из состава маршевой роты или вернувшегося из полковой медроты, а призванного на месте, из местных жителей. А чаще – окруженца или партизана, перешедшего линию фронта в одиночку или в составе небольшой группы и прошедшего проверку на месте. Такое бывало, потому что людей не хватало. Вот я первым делом и подумал о том, что какая-то история произошла с кем-то из таких новых бойцов. Но спрашиваю: «То есть в каком это смысле лишний?»

Он рассказывает, что за три дня до того погибло несколько его бойцов. Тогда каждый день люди гибли. Даже если немцы не атаковали, то обязательно кого-то или осколком мины зацепит, или снайпер поймает, или под бомбежкой... Головы нам поднять не давали, я уже говорил. Маршевая рота придет в полк, пополнение раскидают, но в ротах никогда больше 40–50 штыков в те дни не бывало, как я помню. Редко когда под 60. Ну так вот, погибло сколько-то человек, похоронили их как положено, под утро доложили о потерях за сутки, а через три дня является этот боец. Тот самый, из погибших.

Во-во, вот как ты на меня сейчас посмотрел, – вот тогда я сам посмотрел так на старшего лейтенанта. С меня остатки сна слетели: «Так, Тэрлан», – говорю. – «Рассказывай подробно». Мы на «ты» были, во-первых, потому, что возраста одинакового, а во-вторых, потому, что звание лейтенанта НКВД приравнивалось к званию капитана в армии. Ну и потому еще, что у нас нормальные отношения были в батальоне, не как у некоторых. Командиры и красноармейцы батальона знали, чего я стою, а я их никогда лишку не «цукал», только по делу. И вот он уже более спокойно рассказывает: объявился красноармеец Решетов посреди ночи, абсолютно голый. И не просто объявился, а был обнаружен на позициях роты, позади передовой траншеи. Стоял и озирался. И дрожал. Ну, отчего посреди ночи у

нас дрожать можно было – это просто. Все трясется, вспыхивает, рычит. Пулеметные трассы над землей так злобно «Хш-ш-ш... Хш-ш-ш...». То несколько мин разорвется, то снаряд где-то в стороне громыхнет. Ракеты, опять же. Ночью скучать не приходилось. Бойцы по ночам в траншее в основном были заняты наблюдением: может, немцы в ночную атаку пойдут, может, отвлекают огнем, чтобы свой поиск провести, может, еще что. Очередная ракета поднимается, свет у нее такой режущий, что глазам больно, – и вот стоит этот красавец у всех за спинами. Срам горстью прикрывает. Как заметили, – пара человек тут же к нему. Повалили на землю, стянули в траншею. Взводный прибежал, затем командира роты позвали. Тут я первый вопрос ему задал: «Точно он позади передовой траншеи был?» Тот еще раз подтвердил, что да, именно так. И стоял столбом, губами шевелил. Ага, значит, не бежал к немцам. Я как-то сразу себя надежней почувствовал: с остальным, думаю, разберемся.

Ну, начали разбираться, сначала по-быстрому. Еще раз: красноармеец Решетов героически пал в бою за Родину 23 августа 1942 года. Говоря протокольным языком, скончался на месте от полученных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью. Как описал старший лейтенант, – два проникающих в области груди спереди. После окончания боя, уже 24 августа, был похоронен в братской могиле вместе с четырьмя другими красноармейцами, погибшими в том бою. Не скажу, что с воинскими почестями, но правильно похоронен: с фанерной табличкой, с отметкой на карте, с заполненной в штабе батальона и направленной в штаб полка карточкой захоронения. Все как надо, раз есть такая возможность. 24 августа ребят похоронили, а 27-го он появился: «Здрасьте». Ну, то есть не «здрасьте», конечно, это я зря. Сначала он лыка не вязал. Но живой и здоровый. Сейчас сидит в траншее, в обмундировании с чужого плеча, и моргает. Старший лейтенант как до этого места дошел, я гляжу: у него глаза тупые-тупые, как у призывников, которые впервые обмотку увидели. Тогда обмотки больше были на ноги, их еще звали неприлично... Тут я командира роты остановил, говорю: «Пошли посмотреть». Ну, пошли...

Приходим в траншею, – там взводный, и сидят несколько красноармейцев на корточках. Тэрлан Сауков приказывает:

– Красноармеец Решетов!

Я каждого бойца в лицо не знал, конечно. Потому что за месяц из того состава, который был на формировании, в батальоне осталась половина. Этот Решетов поднимается вместе с остальными. Роста он был, пожалуй, повыше среднего. Худой, как мы все. Усталый. Обычное русское лицо. Узнал я его сразу: по фамилии бы не узнал, а в лицо да. Обмундирован, в руках винтовка.

Посмотрел я на него, посмотрел вокруг. Все стоят, смотрят молча, ждут, чего я сделаю. Я команду: «Командир взвода Петров, красноармеец Решетов, за мной. Остальные на месте». Тот: «Есть». И за мной по траншее. Я даже оборачиваться не стал.

С.А.: А винтовка?

И.А.: В каком смысле? Это же передовая, там нельзя без оружия. Мы, можно сказать, спали на войне с личным оружием в обнимку. Если бы он был трус, дезертир и я бы его арестовывать пришел, – тут бы другое дело. А так я никакого права не имею у бойца оружие отнимать. Я о чем подумал, когда на него лично посмотрел, пусть и на секунду пока? На фронте ведь чего только не случалось. Бывало, что человека как бы у всех на глазах убивает, и даже семья похоронку получает, – а он на самом деле жив. Скажем, бежит боец в атаку, и потом его друг рассказывает: «Я был уверен, что тебя убило! Ведь снаряд у тебя прямо под ногами разорвался!» А того просто отбросило в сторону, – ну, пусть ранило. А позже мне вообще такой случай рассказали: погиб лейтенант, похоронили его, дали залп из винтовок над могилой, а потом прибегает его лучший друг из пулеметной роты. «Не верю, – кричит, – что Валерку убили! Ну не может этого быть!» Его успокаивают, а он буквально бьется, из рук вырывается. «Разойдите могилу, я хочу на него посмотреть». Бред, сумасшествие, – а

ничего сделать не сумели с ним, представляешь? Разрыли могилу, пришлось. Он на тело друга бросился, землю с лица стер, – а тот дышит... Не бывает такого, да? Только на фронте, где миллионы людей убивали... Вот и тогда я подумал: ранило человека, а медиков у нас нет, – ребята приняли его за убитого да и закопали. А он взял да и выкопался. Редкость, пусть почти чудо, – но вдруг возможно? Но потом сам думаю: нет, не может этого быть. И не в том дело, что «вообще не может», а не складывается в этом конкретном случае. Ведь мне еще старший лейтенант сказал: две пули в грудь. То есть я еще к своему блиндажу топал, а уже все это продумал. Не может человек ходить через три дня после двойного ранения в грудь.

Пришли ко мне, я показываю: мол, заходите оба. Лампу засветил. Да, была у меня такая роскошь: настоящая керосиновая лампа, пусть и с кокнутом стеклом. Я засыпал в нее бензин с солью, и она ничего горела, хотя трещала. Они входят, землю у себя с плеч стряхнули, и я им – «Садитесь». Ну, сели оба, винтовки у колен поставили. Молчат, – и я молчу. И не потому, знаешь, что давлю на нервы этими там приемчиками, а просто не знаю, что говорить. Потом догадался.

– Красноармеец Решетов, расскажите, как все было.

Я, конечно, вижу, как он волнуется. Но кто бы не волновался, если не к теще на пельмени пришел, а к оперуполномоченному? Даже если ты слезно чист, все равно первый раз будешь ерзать. Сначала он мекал, бекал. Потом понял, что я ему ничего не делаю, и уже нормально так, связно говорить начал. Только рассказ коротким получился. Мол: «Они нас прижали, мы лежим, лежим, потом вижу – товарищ лейтенант по цепи идет и орет. Я даже не поверил сначала – вокруг пули свистят, щелкают, а он в полный рост. Кому пинка по боку, кому два по икрам и всех без исключения – по матушке. Ну, мы встали, дальше побежали, и тут меня как даст...»

Здесь он замолчал на минуту, наверное. И я все так и сидел, ждал, что он дальше скажет. А он все так и молчит, только грудь растирает. Так старики делают, у кого грудная жаба. Я и себя сейчас на том ловлю, ну так и годы какие... Так вот и он, Решетов, так же делал, как я тогда заметил – открытой ладонью водит по гимнастерке, а сам о своем чем-то думает. Я себе: «Ага! Болит рана-то!» Но не командую, а спрашиваю: «А куда тебе дало?» – «Не помню». – «А если подумать?» – «Дык не помню же!» Я ко взводному поворачиваюсь: «Лейтенант, что добавите?» Тот помолчал, подумал сперва, – он вообще был серьезный парень, я верил, что из него толк выйдет, если не убьют. Сколько-то поморщился и говорит: «Два раза в грудь». Я ему: «Покажи куда?» Тут его надолго приморозило. Но это и понятно: на себе фронтовик никогда не покажет, куда пуля кому попала. Никогда, понял? На другом – тоже, если уж не совсем дурак. На своем, во всяком случае. Ну не на мне же показывать? Я его растерянность вижу и командую: «Словами, чудо карельское! Словами скажи!» Они оба, я гляжу, заулыбались, – хотя повод-то... Ладно. Словами он сказал, что одна пуля попала бойцу чуть повыше правого соска, а вторая уже с левой стороны и гораздо ниже. Вроде как в самые нижние ребра, или прямо над селезенкой, или в саму ее, да. Зимами-то с убитых шинели снимали, конечно, – но сейчас лето было, и я переспросил еще: «Раздетым хорошили?» В том смысле, видел ли он сам раны, или только дырки на гимнастерке? И вот тут я впервые заметил, как Решетов серьезно напрягся. Аж заостенел, и голова в плечи ушла. Это я про живого-то человека так сказал! Который вон рядом сидит и вбок смотрит!

Лейтенант что-то мне рассказывает, с запинками да мычанием, а я и не слушаю, на красноармейца смотрю. Потом останавливаю лейтенанта и говорю:

– Лейтенант Петров! Из чего бойцов положило?

Тот осекся, снова подумал, потом говорит:

– Этого и еще двоих – стрелки. Остальных уже минометы.

– Точно не пулеметы?

– Никак нет, товарищ оперуполномоченный.

Я лицо сделал позначительнее и говорю обоим:

– Что такое «9 на 19», знаете?

Боец на меня смотрит, как баран на новые ворота, но тот огонь непонятный ушел из глаз, уже хорошо. Лейтенант моргает, не говорит ничего. А я ему назидательно так:

– Германский патрон «9 на 19 мм «Парабеллум» снаряжен пулей весом около 8 грамм. Пуля имеет невысокую начальную скорость. Останавливающее действие у нее отличное, а вот пробивная способность слабая. Понятно?

Тот кивает, хотя по глазам видно – вообще не понял ничего. Боец такое же выражение на морде изобразил, ясное дело. Внимательное и тупое.

– Со сколько метров вам дали?

– С двухсот вроде.

– Ну вот! – И смотрю, как будто все им объяснил. – С двухсот метров пуля пистолета-пулемета и ватник может не пробить, и шинель. И кожу, ежели повезет. Может, и рикшетом попали.

От чего рикшет, меня уж никто не переспросил. Земля мягкая, лето. И бои не только уличные, линии траншей и ячеек пока больше через поля да холмы идут, какие там рикшеты. Но ладно. Лейтенант уже все понял, я по глазам вижу. На роту у немцев было 132 штуки «Маузеров» Каг.98k, и всего 16 пистолетов-пулеметов. Так что если ребят точно не пулеметом положили, то скорее винтовочным огнем. У «маузера» прицельная дальность 500 метров, и начальная скорость пули – натурально, в два раза выше, чем у «МР». Винтовка – второе оружие пехотинца, после пулемета! Потому что автомат – это уже не совсем пехотинец. Автоматчики – это совсем особый народ, вот что я думаю. Скажешь, что не прав?

Я к чему все это говорил-то... Я видел, что если я сразу прикажу Решетову гимнастерку снимать, то что-то плохое точно случится. Не знаю что, не знаю почему, но точно. А так я его отвлек как-то, переключил, и вот теперь уже говорю:

– Спорим, у него синяки во всю грудь? Дышать тебе не больно, парень?

Тот тупо так наклоняется, вытягивает гимнастерку с-под ремня, задирает ее, и сам на себя смотрит. И мы смотрим. Да... Чистая кожа. Даже слишком чистая. Мы-то не мылись по-человечески уже хрен знает сколько, все в цыпках ходили. А он чистый. Почти.

Смотрели мы на него минуту, наверное. Как мать на ребенка. Белая кожа, волосы на груди, как положено взрослому мужику. Ребра видны, потому что худой, – но и жилы тоже чувствуются, Решетов этот не слабак был какой. А ран на коже нет. И синяков нет. И вот тут я впервые увидел, что лейтенант натурально испугался. Сам-то я ничего был. Кроме отупения от происходящего на моих глазах – никаких таких выраженных чувств. Красноармеец Решетов – этот, похоже, отключил мозги: в глазах вообще ни единой мысли. Смотрит именно как новорожденный, ничего в зрачках не отражается, никакого вообще выражения. А Петров чуть не зубами клацает, и холодом от него веет. Посмотрел я, помолчал еще, и тогда мне первая мысль в голову пришла. Первая за несколько минут. Могилу проверить. Если там пусто – значит, всем показалось, и его не ранило на самом деле. Или не показалось. Не знаю. Но мысль как пришла, так и ушла, вот в чем дело-то. Немцы нас за эти дни на очередные пару километров подвинули. И не проверишь теперь – не в поиск же ради этого дела идти. И еще мне в голову пришло, что если бы боец выкопался из земли, то очнулся бы у немцев уже. А не позади нашей передовой траншеи, и не голяком. Хотя это последнее ерунда, неважно совсем. Может, оборвался, пока вылезал, к примеру. Или в беспамятстве ободрал все с себя. Он же сначала и вправду ничего не соображал, как рассказывали. Так я ничего и не понял тогда, в общем.

С.А.: Иван Федорович, расскажите, пожалуйста, когда вы почувствовали перелом в ходе войны?

И.А.: Вот что я тебе скажу, парень... Ты думаешь, я не понимаю, о чем ты размышляешь сейчас, на меня глядя? Что я свихнулся на старости лет. Что пытаюсь тебе скормить что-то сказочное, непонятно зачем. Может, смеюсь, а может, и вправду псих. Так ведь думаешь? Что молчишь?

С.А.: Иван Федорович, я вовсе не собираюсь вас в чем-то обвинять.

И.А.: Еще бы ты собрался! Но я понимаю все, можешь не оправдываться. Я ведь и сам все вижу. Не забудь, я полжизни имел дело с человеческим враньем. Из страха мне ввали, или чтобы оправдаться, или чтобы выгадать что-то. По-всякому бывало. А мне зачем врать? Чтобы развлечься? Чем? Воспоминаниями этими? Мне почти двадцать лет рукопашина не снилась, двадцать, понимаешь, – пока ты не пришел. Я уже лица ребят почти забыл – Тимофеева, Петрова, Саукова, сотен других, кого я боевыми товарищами называл. Их никого уже в живых нет, вот в чем дело. Никого не осталось, кто вот это все видел. Мне и самому до могилы – пара шагов. Прямо как там... И я не продаю байку журналисту, чтобы тот пропечатал это саженым шрифтом и продавал потом с кассовой стойки в гастрономе. Да и кому такое нужно, сам себя спроси? «Ветеран рассказывает – в 1942-м он встретил настоящего зомби!» Или пусть: «Воскрешение Лазаря на фронте! Откровения старого пня!» Пусть так, кому что нравится. Но кому это нужно, да? Если у них и так на каждой странице по голой бабе, а между ними рассуждения пидорасов о культуре, и демократов – о судьбе России. Я именно тебе об этом рассказываю, потому что и тебе это не нужно. Книгу из этого не сделаешь, перепродать – а на кой кому это сдалось? Особенно учитывая то, что я так ничего и не понял окончательно во всей этой истории... Вот меня не будет скоро, а интервью останется. Кто-то прочтет, что был такой капитан Тимофеев, который всех нас через леса провел, от немцев отбиваясь. Прочтет, что был такой Тэрлан Сауков из Ферганы, который с двумя противотанковыми гранатами под «Артштурм» бросился. Что был Петров, который позже погиб, при переправе через Псел. Был ранен и утонул. Что я был на земле, пограничник и пехотинец Акимов. И про это прочтет, про «лишнего» красноармейца, который был убит в бою, а потом взялся откуда-то.

Я ведь не псих, правда. И я ведь не вру. Не рассказываю, как я сто фрицев перочинным ножиком на ощупь зарезал. Мне и больно было. И страшно. И даже так страшно, что я блевал от страха, и стреляться собирался – не мог больше терпеть, как нас с ребятами убивали. Под Вышгородом это было, будь проклят тот плацдарм, сколько нас там осталось... Я нормальный человек, который прошел все это, и остался живым, пусть и покалеченным. Я вернулся живой. Работал всю жизнь. Вырастил сыновей. Внуков. Правнуков вот дождался, о-го-го каких бойцов. А это все осталось со мной. И не нужно никому, кроме меня... (*Молчит.*)

– Знаешь, парень... Спасибо тебе. Что не прервал.

С.А.: Я слушаю вас, Иван Федорович. Я не знаю, что и сказать, но обещаю, что не буду считать вас ненормальным или вруном. Признаюсь, не каждый человек в вашем возрасте мыслит и выражается так ясно. И адекватно.

И.А.: Хорошее слово. Много лет его не употреблял, но да. Я ведь не то чтобы тайну там хранил 60 лет, – я и сыновьям своим рассказывал. И они мне поверили, кстати. Потому что я в жизни им не врал ни о чем серьезном. Пытались что-то делать, насколько им жизнь позволяла. Знаешь, что самое было «продвинутое», что мы сделали в этом направлении? В 1986 году мы с двумя сыновьями и старшим из внуков поехали летом в те края, в Воронеж, и от него на север. «По местам боевой славы». На «Москвиче» да по нашим родным дорогам, ха! И было здорово, вот чего я не ожидал. Все другое, совсем. Зеленое, не черное. Не дымом пахнет, а цветами. Дома целые. Девушки в платьях. Мир... О, Господи... (*Молчание.*) Ладно, все... Не буду... Все... (*Снова молчание.*)

Меня памятник Славы особенно тронул, с этим бойцом, который уже убит, но еще не упал на землю... Потом я в Феодосии похожий увидел, и такое же впечатление он на меня

произвел. Но я не о том сейчас. В Воронеже мы связывались с ветеранскими организациями, с горвоенкоматом, с «Красными следопытами». А что? На пиджаке у меня колодка, с какой не стыдно и полковнику ходить. Я Воронеж оборонял. Ведь Воронеж немцы и венгры так и не взяли целиком! Как и Сталинград: половину они захватили, или даже больше, но в левобережную половину мы так вцепиться сумели, что ничего у них не вышло. В общем, смотрели мы списки, смотрели имена. И Решетов там был. Все, как исходно мне и рассказывал Тэрлан, земля ему пухом. И черным по белому на бумаге, и на бетоне так же: «Рядовой Д.С.Решетов – Даниил Сергеевич – убит 24.08.42». Ну, я-то знаю, что на самом деле 23-го, но похоронили его и, соответственно, карточку заполнили действительно уже 24 августа, так что правильно. И не «рядовой», а «красноармеец», – но монумент уже после войны ставили, конечно. После этого даже и проверять ничего не надо было, хотя и можно, наверное. Финансовые документы поднять – по каждой солдатской копейке, идущей в Фонд обороны, отчетность поискать. Еще по чему-то. Военная бюрократия – это, знаешь... Уже и костей от бойца в могиле не осталось, а где-то на полке бумага лежит, что с него за утеранные подштанники взыскать требуется. Вот. Но мне не до этого было, признаюсь. Да и опаска какая-то всегда была. Я же после войны в таких местах служил, что начини на меня оглядываться, что я «чертей гоняю», – списали бы к курам. Ей-богу, так и было бы.

С.А.: А что дальше было?

И.А.: Там? В 42-м? Там по-разному было. Таяли мы, иначе не сказать. Пройдутся «хеншели» над головами, – старые еще, бипланы кривые, – забросают нас мелкими бомбами: кого-то почти обязательно зацепит. Минометный налет – травы не остается, осколками буквально в сантиметре от земли стебли сбивает. Боец бежит по траншее, и даже пригибается вроде, а та мелкая. И от обстрелов осыпалось, и времени углублять как следует не было – все время в отступлениях. «Бац» – и дырка в боку. Снайперы у немцев отличные были, и много их было. В этом мы с ними очень не скоро сравнялись. И это все как бы «помимо» собственно боев, когда атака, или разведка боем, или что-то другое, когда бойцы стреляют. Мое впечатление от того месяца – это то, что немцев практически нет. Изредка увидишь перебегающие фигуры в сером этом их обмундировании: бойцы начинают из винтовок хлопать, и тех уже нет, как и не было. А так как будто из пустоты все это на нас валилось. Самолет – это же не человек как бы, хотя всем понятно, что в нем летчики сидят. Артиллерия – то же самое. Как с невидимками мы воевали. Еще раз: я прекрасно понимал, что на самом деле это не так, и все понимали, – но вот такое ощущение какое-то время сохранялось. Пусть и недолго, но как раз на тот период оно пришлось. А потом ушло: и тот же самый Решетов в этом поучаствовал, кстати.

Это было в самом начале сентября: числа третьего уже или, может, на день раньше. Все это время я к Решетову присматривался, конечно. Насколько мог, – потому что мне и других дел хватало. Но раз в пару дней обязательно я бывал в расположении его взвода. Не каждый «штабной» офицер так поступит, между прочим! Но какой смысл посылать за бойцом, выдергивать его или его командира из траншеи и строго спрашивать: «Ну как? Ну что?» Я же не совсем идиот. Понятно, что ничего он мне нового не скажет. И более того, если не на второй раз, то на третий кого-нибудь из их двоих по дороге точно убьют. А так я где ползком, где на карачках, где вдоль стенок просачиваюсь к ним и еще минут пять пыхчу потом, пока отдышусь. Сзади, слышу, шепотом: «Ага, оперуполномоченный приполз! Весь в пылюке! И штаны кирпичами разодрал, гы-гы-гы!» И бойцы, как отхихикаются, уже совсем по-другому готовы со мной говорить. Там юмор простой был, но мне в голову не приходило ребят оборвать по такому-то пустяшному поводу. Если бойцам на передовой не смеяться над тем, что у кого-то брючина в навозе или ухо распухло, как блин, когда разрывом об землю приложило, – это свихнешься за неделю. А бойцы по месяцу, по два держались в непрерывных боях, – потом взвод почти начисто менялся...

В общем, на месте, в расположении взвода, меня каждый раз успокаивали. Все нормально. Ничего этот Решетов, не хуже других. Не то чтобы он каким-то особым героем был, – ну так в те дни не до эпического героизма было. Пережить день, не пропустить немцев, и если отступить – то организованно, и после того, как немцы усилия по максимуму затратят: вот это уже был героизм. Причем не просто отступить, а на новом рубеже рогом упереться. И вот как все – так и Решетов. Приказывают – перебегает, приказывают – окапывается. Стреляет, в какую сторону покажут. Раненого с оружием в тыл батальона оттащил на закорках, и вернулся в срок, не задержался нигде. Да, с оружием обязательно! Даже санитаркам не засчитывали «вынос раненого с поля боя», если без оружия. Потому что даже с винтовками плохо было, не то что с автоматическим оружием. Это вообще была почти драгоценность, – хорошо, если по три-четыре пистолета-пулемета на роту было, и давали их самым подготовленным бойцам. Так что по всем рассказам выходило – нормальный Решетов человек. Свой. Но что по моим впечатлениям – то больно он был туповат. Я сам не академик Мечников, понимаешь, – и в окопах далеко не дипломированные инженеры сидели, – но это что-то больно ярко было выражено.

С.А.: Контузия, может?

И.А.: Вот и я так думал! Именно так! Речь нормальная, кстати, без этого мычания, которое у контуженных бывает. И пальцы не трясутся, и движения нормальные, – но такое ощущение, что вот почти каждый раз, когда ему что-то сделать надо, он с полсекунды это обдумывает. Причем самое простое – передвинуться в доме от одного проема к другому, винтовку с подоконника убрать, когда обстрел. К последним дням лета от тех домов, за которые мы тогда все цеплялись, уже и не осталось почти ничего. Фундамент, и из него остатки первого этажа торчат; просто куски стенок между бывшими окнами, как гнилые зубы во рту. И вот эти развалины мы продолжали держать.

В тот день, то ли 2, то ли 3 сентября, я приполз в расположение роты с рассветом. Ну, роты – это одно название. Сорок с небольшим активных штыков в роте было, – это чуть больше полноценного взвода. Но зато два станковых и два ручных пулемета, поэтому Сауков очень уверенный вид имел. Ну и ребята молодцами держались, конечно. По моему мнению, немцам дешевле было или вообще оставить этот квартал в покое, или уже по-настоящему за нас взяться: с серьезной артиллерийской подготовкой, с бронетехникой. Тогда бы нам сразу конец пришел. Но они продолжали сравнительно малыми силами батальон щупать. Причем без особого желания прямо тут за фюрера умереть: это сразу чувствовалось. Последние дни затишье было, но мне это подозрительным не показалось. Я, как все другие, – задним умом крепок был. В общем, если вспоминать в деталях, то ровно в 8 часов утра немцы дали свой «дежурный» артобстрел, – то есть положили в развалины штук десять снарядов среднего калибра и затихли. Когда пыль осела и мы огляделись – это вообще лепота была. Никого не ранило, не убило, не завалило. В небе птички снова почирикивать начали. Солнце поднимается, но жуткой этой летней жары уже нет. Бойцы улыбаются: живы. И тут как даст... Минуту или две я вообще ничего не соображал, не понимал. Вокруг трясется, при каждом ударе мне на спину по половине кирпича откуда-то прилетает: тоже ощущение несладкое, я тебе скажу. Крик начался какой-то, а я и не понимаю, о чем. Признаюсь, немного струхнул. Потому что, если взвод отходит, а я ничего не слышу и не понимаю, – это худо. Да и если не отходит – тоже я не к месту. Потому что пехотный бой – это не мое дело, в общем. Я с одной рукой, и у меня из оружия – один офицерский наган «двойного действия». Из револьвера можно и с одной рукой стрелять, хотя он тугой и тяжелый, – а пистолет однорукому бесполезен. Да в бою и наган бесполезен, но он хоть какое-то успокоение дает: я был твердо уверен, что живым не дамся.

Все же я заставил себя голову поднять. Не сразу, признаюсь. Немцы забросали передние дома минами, и вот когда они в глубину огонь перенесли, только тогда я смелости

набрался. Смерти все боятся, чего там... И вот выглядываю я из-за своего подоконника, – а там немцы. Метрах в двухстах уже, не вру. Это они под прикрытием налета так близко подобрались, и теперь им один бросок остался. Двести метров знаешь за сколько солдат пробегает? За секунды какие-то, ей-богу!

У меня первая осознанная мысль какая была – про гранаты. Вот сейчас бы гранату в руку, – насколько надежнее я чувствовал бы себя! Но у меня ни единой – сроду я их не носил после 41-го. Но я даже подумать больше ничего не успел, даже посочувствовать себе как-то, – как сам же и заорал:

– Гранаты к бою!

Понимаешь, я даже не знал, живы ли командиры, или убиты, есть ли кто рядом? Но я подал команду, потому что знал Устав и знал, что требуется делать. Еще не подумал ничего, что вот, мол, надо скомандовать, – а уже проорал в полный голос. И не смешно совершенно. Боевые уставы наизусть учат вовсе не для того, чтобы бойцов занять.

Слышу – отозвались слева, справа: живы ребята! И огонь открыли: минимум один ручник заработал. Но немцы уже метрах в сорока или пятидесяти, не более. «Гимнастический шаг» этот их удивительный; я только много лет спустя понял, что на определенных дистанциях спортивная ходьба дает скорость не хуже, чем нормальный бег.

– Гранатой – огонь!

Я скомандовал, потому что должны были услышать, – да хоть и не должны. Как проорал, страх в какую-то точку сжался, вниз ушел. «Ну, – думаю, – напоследок шумну, чем бог послал». Наган перед собой выставил, а голову, наоборот, пригнул, жду. Рвануло и справа, и спереди, – меня всего гипсовой трухой обсыпало. Ясное дело, немцы тоже по нам дали. У них хотя гранаты маломощные были, но их было заметно удобнее кидать. Метче получалось.

И вот я жду. Трескотня стоит, крики, но я как оглох, молча смотрю на этот кусок пространства перед собой. Он как кусок пустоты, чистого воздуха, – а вот все вокруг в белой и серой пыли, и вот из этой пыли на меня выскакивает немец. Глазом я моргнуть не успел, – так все это быстро произошло. Я – «Бах! Бах!». Не стану врать, честно скажу: не думаю, что я в этого немца попал. С упора я и с одной руки мог неплохо стрелять, но это слишком уж быстро все было. Однако он делся куда-то. Может, шархнул в сторону, не знаю. Пропал. Меня как ветром обдуло: очередь совсем рядом прошла. Не знаю, какое у него там оружие было, не увидел, – но мне показалось, что сразу несколько пуль буквально впритирку вокруг меня пролетели. Наверное, пистолет-пулемет.

Вот когда немец исчез, – вот тогда я начал что-то соображать. В голове как от тумана прояснилось. Теперь я услышал, что первый пулемет как будто захлебнулся. Вроде второй «дегтярь» дал огня, – но тут же тоже умолк. Винтовочной трескотни довольно много, но в ближнем бою винтовка играет не долго: перезаряжать становится некогда. Полминуты, вряд ли больше, – и уже почти без стрельбы. Все. Только звяканье и человеческие крики. Такие крики... Если бы на меня тогда посмотреть, – это ясно было бы, что я сошел с ума. У меня кожу на лице как жаром стянуло. И все чувства ушли как в точку, – раз, и я вообще никто, никакой. Сумасшествие, я же и говорю. В барабане револьвера 5 патронов, одна рука, – куда я рванулся, зачем? Но мне это и в голову не пришло. Потому все и увидел. Сначала со спины: двое немцев пятятся ко мне, держа винтовки на изготовку. Я закричал что-то, не помню что, они обернулись, и тут из этой пыли, которая так и не осела пока, появился наш боец с винтовкой. На него кто-то кинулся сбоку, из той же пыли, – а он только откачнулся, и бросившийся повалился на землю. Помню, что «маузер» вверх подкинуло метра на два выше человеческого роста. Немцы, та пара, как-то синхронно повернулись, и я навсегда запомнил их лица: как белые маски, и глаза на половину лица у каждого. Они меня даже не испугались, им не до того было. Как на пустое место на меня посмотрели. Я снова: «Бах!» – и опять мимо. А они даже не пригнулись, как бросились бежать мимо меня. Один винтовку под ноги

кинул, – но именно его Решетов и достал. Я только тогда его узнал. Он сделал какой-то длинный выпад, и проколол этого бегущего немца насквозь. Клянусь, так и было! Решетов был в трех метрах, не меньше, – иначе немцы не успели бы проскочить мимо меня. Но он достал этого замыкающего немца выпадом, и тот рухнул почти рядом со мной. Я выпустил еще одну пулю в сторону последнего убегающего немца, и тут уже рядом с нами человека два или три появилось. У одного кровь с лица текла, как из крана буквально. Борозда поперек щек и под носом была едва не в палец глубиной, – или тесаком рубанули, или штыком вскользь. Бить штыком в лицо – это очень правильно, на самом деле. Доходчиво как-то... Нас тоже так учили...

В общем, остатки немцев оттянулись назад, и мы даже не сумели ничего больше сделать. Пара пулеметов больше бы поработала в эту минуту, чем весь героизм ребят. Но и так хватило. Я пытался найти потом записи об этом бое, официальное что-нибудь, но не сумел. Должны были быть реляции, доклады, хвастовство командирское: «отразили», «рассеяли», «уничтожили». С этими их «...и до роты пехоты». До роты! 120 человек – это им тоже «до роты». Не знаю. Тел пятнадцать я видел своими глазами. Пятнадцать, представляешь! Не каждому из нас к тому месяцу столько убитых немцев видеть приходилось, причем не сразу, а вообще. Очень не каждому. А тут пятнадцать! Настоящих, мертвых! Тебе не понять, какое это на всех произвело впечатление. Не только мы в землю ложимся: они тоже, сволочи. Вот вам что, а не нашу землю! Еще раз скажу: в 1942 году это очень большая редкость была, чтобы в каком-то конкретном бою или даже в мелкой стычке счет в нашу пользу достоверно остался. Понимаешь? Ясное дело, немцы тоже потери все время несли, – но мы о них понятия не имели, я говорил уже. А тут вот они: лежат, как миленькие...

Когда мы назад в домики залезли, раненых и убитых вынося, тут по нам еще раз дали. Это уж как закон! Минут пятнадцать все ходуном ходило, буквально почти в каждый угол каждой развалины они по mine положили, – вот не вру. Как стихло и я понял, что все еще живой, огляделся. Ага, остатки стен еще на полметра ниже стали. Много в тот день ребят посеколо, так что немцы счет сравнивали, это уж как минимум. Не промедлили. Ну вот... Мы думали, после такого обстрела они снова в атаку пойдут. Даже странно было, что они сразу нас теплыми не взяли, пока мы после этого второго обстрела не очухались. Оба станковых пулемета у нас разбило вдребезги, как выяснилось, – так что шансов у нас оставалось немного, честно говоря. Сауков подползает:

– О! Товарищ оперуполномоченный! Живы?

Рожа довольная у него такая была! У азиатов вообще все чувства на лице написаны: это вранье, что они бесстрастные какие-то, непроницаемые. Для чужих – может быть, и да, но не для своих, это точно.

Я едва кончил из ушей пыль вытряхивать, слышал его плохо, но ответил что-то такое же: что жив, мол. Рядом со мной еще пара бойцов была: вместе в бою надежнее. Одного я послал пробежаться по позициям роты, и вот он как раз вернулся, доложил мне, что «Максимам» каюк. А Сауков знал, оказывается. Он одного бойца мне оставил, а второго с собой забрал и убежал дальше: согнулся и попрыгал себе через битый кирпич. Я гляжу, – а это тот самый Решетов остался. И вот мы сидим с ним рядом и ждем атаки. В такие минуты лично я ни о чем не думал. Какие-то обрывки мыслей в голове бродят, и все. Про дом, про родителей, про то, как я хотел на путейца выучиться и чтобы вся семья мной гордилась. Как с пацанами колобродили, как за девку подержался первый раз, уже студентом, – и потом еще, после госпиталей... Мелькает это какими-то кусками в голове, без связи. А сам смотришь и ждешь. Каждый раз так было... Не знаю, как у других, а у меня вот так.

Я у Тэрлана гранату выпросил, и вот приготовил ее, усики у чеки подогнул. И наган перезарядил, патроны у меня в карманах были.

С.А.: А почему в тыл не ушли?

И.А.: Что? Гм... Слушай, а я и не знаю. Наверное, надо было. Мне бы никто слова не сказал: понятно же, что это не мое дело атаки отбивать. Кстати, мне потом передали, что бойцы себе отметили, как я вместе со всеми в контратаку поднялся, с одним наганом. И что в тыл не ушел, когда рота повторную атаку готовилась отражать и каждый человек на счету был. Но тогда я об этом не думал. Просто сидел и дом вспоминал, и ребят-пограничников с еще довоенного времени. Всякое, в общем. А потом понял, что немцы что-то не торопятся. Заставляют себя ждать. Даже странно как-то: не пошли они в атаку, хотя почти наверняка могли нас добить там и взять эти домики наконец-то. Потому что пополнение к нам только к утру следующего дня подошло и ружмастер один пулемет из трех, наверное, собрал. Может быть, и вправду мы хорошо им дали, а может, просто офицеров побили: без офицеров немцы обычно не воюют.

И вот как я сообразил это, так начал на Решетова поглядывать уже с интересом. Сначала-то на него нечего особо смотреть было: он себе ячейку оборудовал. Ну то есть не ячейку, конечно, но какую-то ямку в битом кирпиче выкопал перед окном. Лежку. С боков что-то вроде брустверов нарастил, – но это уже ерунда была, от этого никакой пользы. И винтовку он еще почистил: у солдата всегда с собой принадлежности были. «Мосинка» идеальное в этом отношении оружие: механикой она может медную копейку зажевать, но почти никогда не откажет. И все равно правильный боец всегда об винтовке будет заботиться: это его жизнь. А потом я увидел, как он штык чистит, уже в последнюю очередь, и меня как дернуло.

– Даниил, – спрашиваю, – как ты это сделал?

Секунд десять он молчал, потом голову поднял:

– Что – «как»?

Неумно он выглядел, прямо скажем.

– Штыком. Как ты его достал с трех метров штыком?

Решетов на меня смотрит и губами воздух жует.

– Не знаю.

– А все-таки?

Молчит, не говорит ничего. И голову опустил. Я подождал немного и так спокойно ему говорю:

– Даниил, я же все видел. Ты не заметил? Я же совсем рядом был: я промахнулся в того немца с нагана. Ты на моих глазах трех разогнал. И двух заколол. Причем так, как я не видал еще: а я в штыковых бывал, знаешь ли... Почему они от тебя побежали? Что может заставить немецкого пехотинца...

И вот тут меня натурально осекло. Я заметил, как Решетов на свою грудь поглядел. И только тогда увидел. Помню, очень аккуратно я свою гранату в сторонку отложил. Посмотрел на нее... Секунду, наверное, не мог взгляда отвести от этой гранаты, настолько мне страшно было. Потом решил, отвернулся от нее все-таки. Подошел к Решетову. Тот молчит. Господи, какими словами это сказать-то?.. Ох, сейчас ты точно решишь, что я псих...

Ладно. Не перебил, и хорошо. Так тому и быть, видно. В общем, у этого Решетова рана на груди была. Штыковая. У «Маузера 98» штык клинкового типа, и вот это от него. Вертикальный рубец, кровавый. Чуть сбоку от грудины. Представляешь? Нет? Правильно, потому что это бред полный. Я когда рассмотрел это в подробностях, то взгляд в небо поднял, потому как совершенно ясно мне стало: довоевался. Когда человека бьют штыком в грудь, он не сидит и не разговаривает. Он мертвый валяется. А Решетов сидит, на меня глазами моргает.

С.А.: Может быть, едва задело? Только под кожу?..

И.А.: Нет. Абсолютно точно нет. Рана была в полную ширину клинка, и даже мне, совершенно тогда оболванившемуся, было видно, какая она глубокая. Гимнастерку расплосовало, края дыры в засохшей черной крови, как коленкорые, и все хорошо было видно.

Рана кровила, но не много. И вот я с открытым ртом это разглядываю, а Решетов на меня молча смотрит. Потом говорит:

– Ну?

Я на него глаза перевел.

– Что «ну»?

– Что делать будем, товарищ оперуполномоченный?

А я сижу и молчу. Потому как совершенно не имею представления о том, «что делать».

– Откуда ты вообще взялся, Решетов? – спрашиваю.

Он помолчал, а потом говорит:

– Вы все равно не поверите.

И вот эти его слова меня как морозом продернули. Такая тоска в них была, такое... одиночество, что ли?.. Не знаю. Тогда я этого точно не понял, а вот позже меня как осенило: так, таким тоном сказать это мог только абсолютно одинокий человек. Мертво одинокий.

С.А.: И что?

И.А.: Да ничего.

С.А.: Как это?

И.А.: Эх, хотел бы я знать... А я не знал, – не знал, о чем его спрашивать, понимаешь? Я ему поверил, да. Но сделать с этим не мог совершенно ничего. Ну как объяснить тебе? Вот представь: я веду разговор с бойцами «про мирное время» и узнаю, что у одного из них отец был кулак. Самый настоящий. Или убитый в Гражданскую, или репрессированный. Что я должен сделать? Совершенно определенные вещи. И не арестовать парня, как некоторые сейчас думают, и не расстрелять его за гумном из именного нагана, заливаясь при этом сатанинским смехом и облизываясь. А всего лишь словами обойтись. Вслух дать ему понять, что с него спрос особый и присмотр за ним будет особый. И об этом же предупредить его командиров, до комроты включительно, батальонного политрука, ротного старшину и своих доверенных бойцов, которые у меня в каждой роте есть, а в затишье и в каждом взводе. И это все, понимаешь? Потому что для своего человека это будет ясно и понятно, а скрывающегося врага все равно ни лаской и ни цепями не удержишь, коли он перебежать захочет.

Или другое, тоже простое: потянулся боец за кисетом, а из кармана шинели немецкая листовка выпадает, которая пропуск. «Пароль «Штык в землю!», были такие. И вроде не трусливый боец, и воюет не первую неделю, и честно воюет, – но падает у него такая листовка прямо мне под ноги, и что? Даже если он натурально подтереться ее прятал... Есть четкая последовательность действий, определенная даже не учебой моей, – сколько я там учился, – а всем опытом, всей моей интуицией. Что нужно сказать ему, что его товарищам при нем же, что его командиру за его спиной? И не забыть еще, – что в этом случае, что в том, первом... Не забыть, что потом надо будет обязательно сделать, когда тебе расскажут, что, мол, парень под огнем из траншеи поднялся в рост и стрелял, куда приказали. Пусть только это, хрен знает, куда он там попал, но атаку отбили общими усилиями. В который там по счету раз... Тогда надо просто подойти, по плечу здоровой рукой хлопнуть и сказать хоть одно слово, хоть два: «Молодчина, земляк!» И уже дальше пойти, – но он запомнит, и остальные запомнят. Из этого и слагалась наша работа на войне. Это все я знал и умел, и получше многих других. На десятки разных раз, на десятки случаев. Но тут... Ох, не знал я тогда, что сказать, не знаю и до сих пор. Он был не наш, понимаешь? Совсем не наш. Не чужой, нет, – правильно меня пойми. Не враг под личиной контуженого бойца, не шпион, пытающийся пусть даже кровью своих же замазаться, но в доверие втереться. Ни в коей мере!

С.А.: Иван Федорович, а вам приходило в голову, что все могло быть не совсем так, как это показалось?

И.А.: А как же! Приходило, и еще как. Причем я даже несколько вариантов рассматривал! И что немцы потихоньку газы пускают, от которых у людей видения. И что я натурально

головой заболел. И ничего удивительного, между прочим: как на войне от страха и напряжения с ума сходят, лично мне за четыре года видеть приходилось, причем неоднократно. Наоборот, даже странно потом было, что через такие мясорубки миллионы людей прошли и все умом не повредились: женились потом, детишек заводили, страну поднимали. Так что в этом отношении меня жизнь потом проверила: нет, спятившим я не был. Подожди еще, не перебивай! Третий вариант, который я рассматривал, это не душевная болезнь, а настоящая. То есть от микробов или травмы: не знаю, как назвать это правильно. Знаешь, что такое энцефалит?

С.А.: Конечно.

И.А.: Ну вот. Энцефалит бывает не только от клеща. Я, между прочим, помню, как профессор Зильбер того самого клеща, переносчика вируса, открыл в 1937 году. Тогда об этом все газеты писали: мол, «Великая победа прогрессивной советской медицинской науки». Но энцефалит может быть и если просто по голове крепко получить: а мы то и дело получали. И не только когда прямо в голову что попадет, а и когда об землю прикладывало той же самой головой. И еще рак мозга может быть, и у молодых тоже. Тогда тоже может начать казаться невесть что, – а потом помираешь на ровном месте. Так что и это я подумал тоже. И тоже отмел, хе-хе...

С.А.: А то, что это мог быть... Ну...

И.А.: Что?

С.А.: Инопланетянин. «Чужой», как вы сказали.

И.А.: Ну вот ты и произнес это. А четверть часа назад, между прочим, считал, что это я с ума сошел.

Ладно, не надувайся. Я, парень, сейчас тебя удивлю, – но да, и об этом я думал тоже. Вообще перед войной фантастика была уже довольно востребована. Даже фантастические фильмы снимали: например, про полет на Луну. Говорят, в деревнях народ думал, что это по правде люди на ракетах на Луну полетели. А фильм «Аэлита», с Церетелли и Баталовым, – он знаешь, в каком году вышел? То-то же!.. Так что да, я и об этом подумал. Не в тех образах, какие сейчас в ходу, конечно. Нарисуй нам кто тогда картинку инопланетянина из этого вот твоего фильма... С той суровой американской бабой, которая в атаку с ручным пулеметом ходила... Мы бы и не поняли, что это такое имеется в виду. Тогда думали, что они на Земле в скафандрах должны быть: блестящих таких, с рогами-антеннами. Или как минимум в металлических одеждах. И говорить непонятно. Так что с этой стороны такое предположение не подходило. Да... Но при этом я понимал, что не все может быть как в кино. Может скафандр стеклянный, поэтому незаметно? Или он русский выучил? В общем, бред. Как и выглядело с самого начала, правда? В конце концов, в той же «Аэлите», когда восстание рабочих началось и в них солдаты Тускуба стреляли, то убивали. Там, в фильме, марсиане погибали, понял?

Знаешь, я вот рассказываю тебе все это, рассуждаю тут так степенно, – а у меня перед глазами то, как это выглядело. Пыль вокруг еще не осела до конца, гарью пахнет, остатки стен этих, все в выбоинах... И Решетов передо мной сидит, смотрит своими мертвыми глазами. И пальцами дырку на гимнастерке перебирает. Кровь как запеклась, так и засушила края, ткань будто в картон превратилась. По капле сочились у него там изнутри, и все. Жуть! Я же ран навидался с первого дня: я прекрасно знал, как должна рана выглядеть. Врут, что клинковый штык был хуже игольчатого. Совершенно не хуже он в штыковой себя проявлял. Когда в человека так штыком давали, – это гарантированный покойник. Причем это я не «маузер» восхваляю, наши «СВТ-38» и «СВТ-40» такими же были. А он сидит! Смотрит!

Черт, у меня вот как тогда сердце сжало, так до конца редко отпускало потом... Знаешь, фантастика фантастикой, ракеты там, «звезда КЭЦ», интерпланетониф этого инженера Лося... Я вот что скажу: в деревнях тысячу лет разные суеверия в ходу были, а сказки тогда,

в 40-х годах, практически основой культуры являлись. Грамотными уже все стали, но книг на фронте у бойцов не было, конечно. Так что в минуты отдыха или про семьи друг другу рассказывали, или байки травили, или сказки повествовали. Хороших сказочников любили! Не смешно тебе? Это хорошо. Знаешь, как помогало людям, когда можно сказку послушать посреди войны? Про кота и повара, про царя и шута Балакирева, про пастуха и вора, про цыган. Про леших, конечно, про домовых, – в общем, где что в ходу. Мы же все вместе воевали, у нас и карелы были, и украинцы, и сибиряки. Больше половины рядовых бойцов было из деревень, из маленьких поселков. В принципе, про нежить все понимали. В общем, первая моя осознанная мысль, как отпустило чуточку, стала: «Ага, теперь понятно, чего там было, с двумя пулями в грудь». Вторая: «И чего именно те немцы так напугаться могли». А то ж нет?! Стреляешь ты в человека, колешь его, – а он на тебя идет... Ужас... Любой на месте тех немцев пятки бы показал. Решетов был нежить, понял? Все.

С.А.: Иван Федорович, я даже не представляю, что тут вам ответить можно. Я тоже сказки в детстве слушал. Но в леших не верю особо, извините. Ни в леших, ни в водяных, ни в домовенков за печкой.

И.А.: Ха, дык я тоже не верю. Я сам городской: как вырос, в жизни в сказки не верил. Воспринимал всегда как просто слова. Раз в неделю пропагандиста слушаешь про положение на фронтах, про международное, – а когда и бойцов слушаешь: про кота в лесу или как один пастух трех воров обдурил. Или как мужики на базар отправились и в варешку деньги спрятали, а саму ее на палке несли: это у нас один армянин рассказывал... Как его... Бекзадян! Армен Бекзадян. Ему под Глебовкой руку оторвало, но он жив остался, – мы встречались в 83-м на годовщину. Так вот, сказки – это само по себе, а нежить – само по себе. Когда человека убили, а он снова живой – это что-то из этого. И вот когда я убедился, что мне не кажется, когда ничего из первых моих мыслей не подошло – вот тогда я успокоился. Нежить. Ну и что?

С.А.: Э-э?

И.А.: Вот тебе и «Э-э»... Хе, у тебя такой же вид стал, как у тех бойцов в траншее... Тупой, честно скажу. Мысль из глаз исчезла. Теперь и ты не понимаешь. А я не знаю, что и сказать. Но вот давай еще раз вместе разберем. Итак, бойца убили двумя пулями в грудь, а он снова живой. Второй раз его почти что на моих глазах убили, на этот раз в штыковой, – а он снова живой. При этом мне это достоверно не показалось. Газы немцы не пускали, головой я не тронулся, раком или воспалением мозга в конечном итоге не заболел. Это было по-настоящему, да. А знаешь, что надо сделать после того, как осознал вот это? Не знаешь? Надо отнестись к этому спокойно, – ко всему в целом, – и перенести свое внимание уже на детали. В том смысле, что да, вот ветер – он дует, дым – он поднимается вверх, а красноармеец Решетов – он нежить из народных сказок. Понял?

С.А.: Нет.

И.А.: А здесь и незачем понимать. Просто принять надо. Вот ты обратил внимание на то, что я сказал, что он был чистый, когда гимнастерку поднял?

С.А.: Не помню. Нет, наверное.

И.А.: Вот именно. А я сразу же на это внимание обратил, – только сперва не понял, что это может означать. Потому что меня жизнь приучила обращать внимание на детали! Вот я в 1946 году на узловой станции Орша задержание произвел. Майор со звездой Героя Советского Союза на груди. Усы – во! Плечи – во шириной! На груди колодка с ленточками двух орденов Ленина. Мол, «расступись, народ!». А меня что цепануло: у него в нижнем ряду были ленточки медалей «За оборону Москвы» и «За оборону Севастополя». Московская битва – это с октября 41-го по январь 42-го, а Севастополя – с ноября 41-го по июль 42-го. Большая редкость, чтобы у человека обе таких медали было. Всякое, конечно, бывает, но

редкость. Начал проверять документы – всякое тоже на себя внимание обращает. По мелочи, но много.

С.А.: Неужели шпион оказался?

И.А.: В 46-то году? Нет, конечно! Просто жулик. Мошенник. Человека с такой внешностью и с таким иконостасом лишний раз проверять не будут, а попользоваться он может многим. Но я не об этом вообще, это я отвлекся. Я к тому это рассказал, что когда в чем-то есть столь ярко выраженная внешняя сторона, на детали в принципе можно начать смотреть, только если «затенить» ее, перестать придавать ей решающее значение.

Вот давай подумаем. У Решетова была чистая или почти чистая кожа, когда я на его грудь посмотрел. Мы уже почти серого цвета все были: не помнили, когда белее меняли последний раз. В расчесах от вшей, извини за некрасивые подробности. А он чистый. При том, что как бы убитого никто не обмывал, конечно же. Это первая деталь. Которая, по моему мнению, указывает на то, что это был уже не совсем красноармеец Решетов. Нежить, как я сказал. Родившаяся заново. Созданная по его подобию, но не он.

Вторая важная деталь – это то, что он все же не около братской могилы обнаружился, а в нескольких километрах к востоку. Почему? Вот этому я объяснение долго найти не мог. Потом все же пришел к тому, что вариантов здесь мало: единственная привязка – это мы, мой батальон, его рота и его взвод. Место, где были те люди, кто его знал. Почему это имело значение – не имею понятия, но вот запомни это.

Третья деталь – его заторможенность. Нормальному человеку незачем полминуты размышлять, перед тем как что-то совсем простое сделать. Мы вообще большую часть времени не думаем ни о чем: просто живем. А если на войне пехотинцу много думать – эдак долго не провоюешь. Да, конечно, мы и так долго не воевали. Две, три атаки – и солдата нет, видишь, какая штука. Но подготовленный и особенно бывалый солдат – он в бою действовал не рассуждая. Почти на полном автоматизме, вот как. Причем, ты пойми меня, я вовсе не имею в виду, что солдат не думает. Наоборот, он думает непрерывно, только так он может день прожить. У командира всего одна пара глаз, да и где он еще, командир-то. Нужно самому все замечать и каждую секунду выбор делать. Но такая возможность у солдата имеется, только если у него голова свободна. Во-первых, от страха: а такое может быть, только если ты по природе не трус и уже обстрелян к тому же. А во-вторых, от мелочей. Как шаг ступить. Как поступить, когда вот первая пристрелочная мина в полусотне метров легла. А Решетов этот буквально в каждом дверном проеме останавливался, как баран. Думал. Что это могло означать? Я вот решил, что то же, что и первое: что это не взрослый человек. В шкуре взрослого, но не взрослый. Или что это не совсем человек: и кожа есть, и усы растут, и даже ходить и говорить умеет, но на самом деле непрерывно занят просто фоновой работой – я бы сказал, имитацией поведения.

С.А.: Как компьютер.

И.А.: Что?

С.А.: Как компьютер. Если слишком большая доля оперативной памяти компьютера тратится на поддержание собственно деятельности системы, то его быстродействие резко снижается!

И.А.: Ну, я не знаю. Я в этом не понимаю ничего. Моя аналогия была – что Решетовым как будто управлял неопытный водитель. Такой непрерывно смотрит вокруг, непрерывно крутит головой: на дома, на машины и повозки, на пешеходов. На собственные педали, так сказать, правильно ли нога стоит. И так он всем этим озабочен, что свой автомобиль ему вести уже трудно. Не знаю, удачная ли аналогия, но вот такая она у меня была... Да, Решетов мог как-то «включиться», «надавить на газ», – бежать, стрелять, драться, действовать, в общем. Рывок этот его удивительный, который я долго потом посекундно себе воображал: вот он еще метрах в трех, а вот он протыкает бегущего штыком... Длина винтовки Мосина

образца 1891/30 годов с примкнутым штыком – это 1738 мм. Много. И роста Решетов был здорового: по моим прикидкам, до 176–178 см, это по тем временам довольно выше среднего. Руки и ноги длинные, жилистый. Но нет, никак он не мог догнать, достать того немца выпадом. Еще раз – я побывал в нескольких ближних боях, я могу судить. Это было нереально, но это абсолютно точно имело место, это случилось на моих глазах. О чем это свидетельствует? Я уже сказал свое мнение...

Ох, давай дальше пойдем. Не устал еще от этого?

С.А.: Нет, я слушаю.

И.А.: А я вот что-то разволновался. Столько лет... Я так думаю, что самая важная деталь из всего этого, вместе взятого, – это все же то, что, погибнув в первый раз, он появился среди нас, среди тех, кто его помнил. Он был как слепок с нашей памяти: цельный, работающий. Способный говорить, ходить среди нас. Жить и умирать, как мы. Вместе с нами... Только об этом и осталось рассказать, наверное.

Решетов пробыл с нами еще неделю. И каждый день мы с ним виделись. Я уже и повода не искал, чтобы поговорить с ним. Да какое там поговорить, посмотреть на него просто. Приползал в развалины, отряхивался, говорил с командирами, – потом к нему. Пусть на четверть часа, мне хватало. Решетов со дня на день становился другим. Больше, как мы. Собранным, волевым. Ушла эта тоска из глаз. Ну да и просто грязнее стал.

8 сентября немцы предприняли такую атаку, что я подумал: все, конец, не удержимся. Нас сдавили с флангов, отделение немецких автоматчиков прорвалось аж к штабу батальона, и комбат бросил в контратаку всех, до коноводов и поваров включительно. Бойцы дрались гранатами и штыками, немцы откатывались назад и тут же лезли снова. Их артиллерия замолкала, только когда они подходили к нам вплотную. Вся земля была окутана пылью, в небе – сплошная гарь. Потери у нас были большие, но удержались как-то. А 9 сентября немцы поперли снова: причем даже не с утра, а еще в сумерках. После первого дня их наступления я полагал, что тяжелее быть уже не может, а оказалось – еще как может. Немцы впервые за долгое время пустили в ход бронетехнику: не танки, слава богу, но броню. Какие-то бронетранспортеры, вооруженные тяжелыми пулеметами. Марку я не знаю, но здоровые и хорошо бронированные. Один сожгла на наших глазах 45-мм противотанковая пушка истребительно-противотанковой батареи полка, остальные как-то уцелели. С помощью бронетранспортеров немцы глубоко вклинились в нашу оборону и к вечеру рассекли полк на две неравные части, на стыке между позициями 1-го и 2-го батальонов.

Позже, уже в мирное время, когда я читал какие-то генеральские мемуары про эти бои, то прочел, что они сильно потеснили 465-й стрелковый полк нашей дивизии: именно из-за этого наше положение стало таким тяжелым. Но мы держались, и в течение двух или трех следующих дней немцы как-то потихоньку ослабили нажим на нас. Видимо перенесли основные усилия чуть севернее, к Большой Верейке, которая с августа уже несколько раз переходила из рук в руки. Про Воронеж мало вообще-то написано, про Верейку еще меньше, но мне тогда казалось – здесь судьба войны решается. Было страшно...

С.А.: А что Решетов?

И.А.: Решетов... Я в те дни был на командном пункте батальона. Видел все изнутри, но не из траншеи! Не из домов этих! Если я видел немецкие бронетранспортеры, то это было с пары сотен метров! И то я не обязан был на них смотреть, я мог спрятать голову и высунуться, только когда все закончится. Не обязан был стрелять по ним. А на Решетове и всех остальных по-настоящему все держалось. На волоске все держалось, на кончиках ногтей буквально. Наши и немецкие автоматчики и стрелки поднимались в атаки и контратаки каждые несколько часов, – и ложились в землянку... Под пулеметами, под минометным огнем... Не раз доходило до рукопашных. Один из истребителей танков противотанковым ружьем Симонова насмерть двух немцев забил: кому потом ни рассказывали – никто

не верил. Причем не богатырь какой был – нормальный такой мужик среднего роста, узбек по национальности...

Решетова я увидел на второй день этого боя, когда на десяток минут затишье выдалось. Я вперед выполз, в траншею свалился, – и к ребятам на полусогнутых. Да, потому что должен был, меня комбат послал. Бегу, считаю. Ага, Сауков жив, Петров жив, этот второй взводный, как его... И пара станкачей цела, пар из паротводных трубок хлещет. Значит, еще поживем. Ребята тяжелораненых в ближний тыл оттаскивают и убитых – просто в сторону, в отрезок траншеи. Копают сразу же, земля в разные стороны летит. Хотя на штык осыпавшуюся землю со дна хода сообщения раскидать, хоть наметить запасную позицию для пулемета – уже, может, лишнюю жизнь спасет, а она каждая сейчас на счету.

Решетов был уже совершенно такой, как все. Черный от гари и от усталости, гимнастерка аж серая уже от пыли, в корке от высохшего пота. Глаза на лице горят: красные, жуткие. Царапины на морде, костяшки пальцев разбиты.

Нашел я его, посмотрел, спрашиваю: «Что, Даниил, досталось?» – «Держимся, товарищ оперуполномоченный...» Голос хриплый, севший: пылью и гарью все горло забито, и не сплюнешь сразу. «Удержим?» – «Должны...»

Вот и весь разговор вроде бы, – а потом он помолчал и говорит мне: «Я и представить не мог...» – и замолчал снова. Я ему: «Что не мог?»

Он снова ответил не сразу. Стоял так обессиленно, одну руку с черенка лопаты свесил. Мы в траншее разговаривали... Решетов помолчал, голову поднял, посмотрел куда-то в небо. Минуту что-то там высматривал, наверное.

«Не мог, – говорит, – представить, что можно так равнодушно относиться к своей жизни. Жизнь ведь у вас одна, знаете?»

Вот тут я здорово удивился. Впервые я слышал, чтобы он такие слова сказал. Понимаешь, это мог сказать школьный учитель. Бухгалтер. Телеграфист. Но не крестьянин! И не просто в книжке умное слово прочитавший и к месту в речь вставивший, – а сказавший это правильно. Не знаю, не представляю, как объяснить такое, но это как будто сказал кто-то другой, не этот. Я кого только не навидался за войну в ротах. И бывших учителей, и бывших ресторанных поваров, и даже бывших музыкантов. Война всех в строй поставила. Я сам бывший студент был. Так вот, я абсолютно уверен, что такие слова не мог сказать наш, старый Решетов. Их сказал тот, кто сидел в нем. Кто да, уже привык к его телу, но еще не смог привыкнуть к войне. И «жизнь ведь одна» – тоже. Это ведь не просто банальность, какую какой-нибудь интеллигентствующий тип мог изречь, чтобы на него с уважением посмотрели. Он действительно не до конца был уверен, знаю ли я об этом: о том, что жизнь у нас одна. Надо же...

И еще странно: это его «у вас». У нас? То есть не у него, не у таких, как он? Ну, я-то видел, что он, фактически, по несколько раз жить может, – но вот чтобы так, вслух, это сказать – этого я не ожидал. То есть похоже, что к этому моменту он окончательно сам в себе разобрался: при том, что в начале еще ничего сам не понимал. (*Молчит.*)

К 12 сентября нам стало немного легче. Уже не по 5 атак в день, не по 4, а всего две: утром и вечером. Бронетранспортер этот подбитый так и чадил все эти дни прямо перед нашими позициями. Да, именно так и было, потому что и наши попытки отбить потерянный клин были немцами успешно отражены. По-хорошему, и пытаться нельзя было, потому что сил у нас и на оборону едва-едва хватало, не то чтобы немца теснить. Но там, знаешь, чуть пополнили батальон людьми, пару грузовиков боеприпасов подвезли к «полковушкам» – уже тебе командуют: «Вперед, давай!» Уже нужно превозмочь себя, подняться и через «не могу» попробовать отвоевать этот километр впереди. Тут уже все на карту ставили. Уже и ездые с писарями заканчивались. Уже командир батальона сам с автоматом в рост в атаку шел. Клич этот великий: «Члены парткомиссии – вперед! Коммунисты – вперед!» Да, так

было! И я в атаки поднимался: как все, так и я. Не больше других жить хотел, и не меньше. С одной своей рукой, с наганом и с матами в четыре колена... Со стоном буквально заставлял себя... А сейчас вот думаю: а может, так и надо было? Может, и я дурак, что со своей вышки генералов сужу. Может, если бы ребята не лезли в огонь после каждой передышки, если бы командование сидело сиднем, силы копило, как богатырь на печи, – может, и немцы подкопили бы сил, да и вмазали бы нам еще и посильнее? Так что не знаю. В конечном итоге это мы в Берлине оказались, а не они в моем Новосибирске. До дома моего только пленных довели, хе-хе. Родители потом рассказывали.

В общем, черт его знает. С одной стороны, вот я сказал «немного легче». С другой: меньше половины нас в живых осталось, когда почувствовали: да, чуть затихает, не тот у них напор. Выстоим на этот раз. Но еще день бой шел: по-разному, уже не все время тяжело, но почти непрерывная перестрелка шла. Именно тогда, когда уже легче стало, и ранило командира нашего батальона; в командование вступил начштаба. И убило комсорга. Я непрерывно мотался вперед-назад, потому что посыльный – это одно, а я – другое. Свое дело я тоже не забывал, не думай. Но мне работы в те дни не нашлось: ни мысли ни у кого не было, чтобы своих оставить, шкуру побережечь. Решетова этого я видел пару раз за день, но только мельком, на бегу. Или лежит, стреляет куда-то, или навстречу мне бежит, согнувшись.

13-го уже совсем вроде затихло. Раненых эвакуировали, даже питание на передовую привезли. Полковник появился: с новым комбатом говорил. Со мной он не разговаривал, не до того ему было. Чего еще? Я по-быстрому донесение написал, и в полк отправил. Все оккупывались как безумные. Все понимали, что передышка будет короткая. Немецкий разведчик пролетел, но высоко, не по нам, а дальше в наш тыл, в сторону Приваловки. Помню, оказалось, что у лейтенанта Петрова медаль прямо на груди пополам перерубило: то ли пулей, то ли осколком, – и он жутко ругался. Мелочь вот в голову лезет... Убитых мы хоронили. Над комсоргом ребята аж плакали: его любили у нас. А Решетов пропал...

С.А.: Что?

И.А.: Пропал, говорю. Без вести. И судя по всему, после боя уже. Я всех, кого мог, опросил, можешь не сомневаться. Почти по часам себе в блокнот записывал: вот столько-то на часах – минометный обстрел, трое раненых в 1-й роте: такой, сякой, третий. Вот столько-то – опять обстрел, и опять трое раненых да один убитый. Записи эти у меня не сохранились, но они точно были настолько полными, насколько это в принципе было возможно. Не на каждого пропавшего комполка в 42-м году такое составляли, а на красноармейцев вряд ли на кого еще. Пропать без вести – это на войне обычно дело, в общем. Кого в траншее так глубоко засыпало, что и не нашли. Кто в атаке или при прорыве окружения позади остался убитый. Кого в плен увели да замучили. Кого вообще... Всякое бывало. Совсем всякое. Но здесь ни на что из этого не похоже было. Как оно и бывало с этим Решетовым с самого его второго появления у нас как уже «лишнего», уже до этого списанного вчистую бойца.

Закончил я первый опрос, почесал голову. По второму кругу пошел. Еще раз напомним: пропал он уже после окончания боя. Соответственно, в перекличке участвовал: бойцы и комвзвода видели, что он жив, слышали, как он отзывался. Отсюда: те пустые пятна, которые, конечно, были в моих записях в отношении хода боя, не могли иметь большого значения. Погибшие ничего не могли рассказать, унесенные в тыл тяжелораненые тоже. Хотя кое-кто потом вернулся, и я отдельно их расспрашивал: просто для очистки совести уже. Так вот, последняя серьезная атака немцев захлебнулась в 16 с копейками: будем считать, в 16.20. Минут десять после этого еще перестрелка шла, – те своих раненых и убитых оттаскивали с нейтралки, наши добавив им пытались. Их минометчики за дело взялись, чтобы мы совсем уж жизни не радовались: это были средние 81-мм минометы. В общем, к 16.35–16.40 последний разрыв осел, и все, почти тишина: только самые лучшие стрелки еще хлопать куда-то пытаются. И в этот конкретный момент Решетов еще был на своем месте. Его помнили

соседи по траншее, с обеих сторон. Правее Решетова в нескольких метрах был младший комвзвода сержант Ивановский с ручным пулеметом ДП. Он заменил выбывшего первого номера расчета, но второй его номер остался в строю и был там же, рядом с Ивановским. Это был красноармеец, фамилию которого я сейчас забыл, но лицо помню. Рябой такой. Он был у нас недолго и погиб довольно скоро. Левее Решетова, опять же в нескольких метрах, был красноармеец по фамилии Бейбог – вот такая редкая фамилия. То есть сразу трое Даниила видели, он был целый. Когда Петров по траншее пробежал влево-вправо, сам он тоже его видел: на бегу ему буркнул что-то, тот отозвался.

И по крайней мере, несколькими минутами спустя он тоже был на месте. Тогда уже шевеление началось. Кто за лопату взялся бруствер понастроить, кто дружка бежит проверять, кто санитару помогает. Кто, извини, за естественной надобностью за поворот хода сообщения торопится, чтобы не под ноги себе валить. Петров, опять же, его видел. И он, наверное, последним был. Больше Решетова не видел никто: ни соседи справа, ни сосед слева. Никто. И винтовка его пропала, и обмундирование. «Сидор» вот в землянке остался. Вещмешок с тем добром, какое у красноармейца могло быть. Я смотрел – обычные дела. Две смены ношеного белья, бритва, зеркальце, пара сухарей в тряпице. Это, и все. Место, где Решетова видели последним, я посмотрел. Ничего там не было: ни следов каких, ни воронки. Ни крови. Стреляными гильзами дно траншеи засыпано, половина сапогами в землю втоптана. Штук сорок я насчитал. И все. На этом все. Вот так вот. *(Молчит.)*

Хм, ты думаешь, мне не видно, чего ты ждешь сейчас? Видно, не сомневайся. Ждешь, что вот сейчас я скажу: «И тут, мол, мне принесли записку. Пишет красноармеец Решетов, и все объясняет. Так и так, я сообщаю товарищу оперуполномоченному», – и вот сообщает мне что-то такое, от чего все становится понятно. Или вообще, хлопаю я себя по лбу и кричу тут, рассказываю тебе: «И тут-то меня и осенило! Вон оно как, оказывается! А я и не понимал! А дело-то просто было!»

Ждешь? А этого не будет. Потому что я сказал правду: на этом с Решетовым было все. Он просто исчез со своей винтовкой и не объявился больше нигде. Мне, в общем, уже поровну стало. Было такое ощущение, что вот, закончилось оно уже все, что не надо больше искать. Сзади спрашивал на всякий случай, дальше в тыл: нет, не видел никто. На этом я и замолчал.

Документов никаких не оформляли. Еще одного «пропал без вести», – зачем? Три недели, как был Решетов убит в бою и похоронен. Только-только, наверное, похоронка до его деревни дойти должна была. Зачем еще что-то писать? Никто это и не обсуждал: новый комбат на Саукова посмотрел, я на него, потом отвернулись и по своим делам пошли, – вот и весь разговор. Так что получается, что эти три недели он на довольствии состоял неправильно. Но на это сквозь пальцы посмотрели, не до того было.

А что я сам думаю... Да так и не знаю, что решить. Это не был пришелец с Марса или Венеры. Это не был какой-то пришелец из будущего. Ни из нашего времени, ни из того будущего, которое впереди. Не леший, уж конечно. С винтовкой-то... Просто кто-то чужой. Кто именно – не знаю я, и никогда не узнаю, вот как. Так что пусть оно так и будет.

Ну а что еще тебе сказать? Потом, после долгих месяцев обороны Воронежа мы начали наступление, вышли к Старому Осколу и вновь на долгие месяцы встали в оборону: на этот раз под Сумами. Чем Курская дуга для немцев закончилась, все помнят: с августа 43-го мы шли вперед уже почти неостановимо. Впрочем, это мне сейчас так кажется, – а тогда было очень тяжело. Очень тяжелые потери наш полк понес под Вышгородом, – так мы тогда и не удержали этот первый днепровский плацдарм. Нас перекинули севернее, на лютежский, и вот там, несмотря на всю тяжесть ситуации, мы удержались. Именно этот плацдарм потом решил судьбу Киевской операции, так я думаю. В ноябре 43-го под Фастовом меня легко

ранило при бомбежке, в правое плечо. Мне даже смешно было: вот, мол, немцы, промахнулись. В одну и ту же руку мне бьют, дураки.

В конце ноября 1944 года в боях за чешское село Собранце случайно погиб руководитель СМЕРШа нашего 520-го полка, и меня назначили на его место, хотя я был тогда всего лишь старшим лейтенантом. На этой должности я и закончил войну.

С.А.: Где вы встретили Победу?

И.А.: В пригородах Праги, столицы Чехословакии. Потом, уже в мирное время, меня перевели в Белоруссию. Мне хотелось все же быть поближе к паровозам, и по моему рапорту меня направили в распоряжение Управления охраны МГБ железных дорог. В Управлении я и служил потом много лет. Так сложилось, что в 50-х я имел отношение к строительству космодрома Байконур, а позже и к созданию одной из служб так называемой системы «специального транспорта». Но об этом и сейчас незачем особо трепаться, так что ладно.

Женился: на руку жена и не посмотрела. Детей мы вырастили. В отставку вышел подполковником. Из наград военного времени – два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией». Еще меня наградили чехословацким орденом «За Свободу». Остальное уже послевоенное, в том числе орден «Отечественной войны». Вот такой вот моя жизнь была... Вот такой...

Но знаешь, что я еще скажу, на прощанье? Там, когда мы были в Воронеже в 86-м, меня сыны в школу отвели. Она стоит на бывшей северной окраине города, где у нас осенью 42-го года был передовой пункт приема раненых. Там у них какие-то летние занятия шли, – для двоечников, что ли? Я камни потрогал, обернулся, – и вот стоят человек десять пацанов и смотрят на меня с такими лицами! Господи, вот тогда я понял: нет, не зря все было. Все наши жизни, молодых, красивых ребят, то, как нас убивали бомбами, снарядами, как мы в атаки поднимались. Все это стоило того. Это не было лишним. Мы дали людям 60 лет мира. Уже больше, чем 60. Большого, настоящего мира, понимаешь? И если я купил хотя бы один час мира для всех этих пацанов своей рукой, своей молодостью, своей убитой мечтой о чертежах и железных рельсах, ведущих через тайгу, – нет, я не продешевил. Ты понимаешь?

Мария Гинзбург Мертвецы и крысы

Иногда мне кажется: вот в чем вся наша беда — слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами.

Курт Воннегут. Колыбель для кошки

1

Имме была не замужем, и ей разрешили вести группу продленного дня у своих же учеников. Сегодня последним остался Эрнест, и забирать его пришел Генрих Талик, его отец. Он радостно подкинул сына на руки. Когда Эрнест мягко приземлился ему на руки, Генрих ловко и почти незаметно вырвал зубами кусок мяса из его шеи. Скользко заблестела кровь на губах. Эрнест даже не вздрогнул. Имме не смогла сдержаться и поморщилась. Генрих быстро и деликатно проглотил откушенное и поставил сына на пол. В руках у Генриха уже был универсальный заживляющий бактерицидный пластырь «Талика».

В Тотгендаме потребляли больше пластыря, чем молока. Марк Талик, отец Генриха и владелец фабрики, на которой производились пластыри, был самым богатым человеком в городе. И, по случайному стечению обстоятельств, занимал пост бургомистра последние десять лет.

Генрих заклеил сыну рану на шее, помог надеть портфель и добродушно хлопнул Эрнеста по плечу.

— Подожди меня во дворе, — сказал он сыну. — Мне нужно узнать у твоей учительницы, хорошо ли ты себя ведешь.

Наверное, он хотел, чтобы в темных глазах сына что-нибудь отразилось. Страх, например. Или чтобы малыш выдавил из себя улыбку, показывая, что понял шутку. Однако в глазах Эрнеста не отразилось ничего. Он не улыбнулся, не кивнул отцу. Он молча повернулся и вышел из класса.

Возможно, потому, что Эрнесту было нечего бояться — на уроках он был тих и послушен. Сам отвечать не вызывался — Имме не помнила, чтобы за весь учебный год он хотя бы раз поднял руку — но всегда, когда она спрашивала его сама, Эрнест оказывался готов к уроку. Контрольные писал на твердые четверки, а то и на пятерки.

Но иногда Имме казалось, что восьмилетний Эрнест уже мертв. В Тотгендаме установление факта окончательной смерти человека вызывало определенные сложности. Про того, кто выглядел по-настоящему мертвым, говорили, что он «готов прогуляться в карьер». У Эрнеста был такой вид, словно ему стоило совершить прогулку в карьер еще год назад. И это при том, что на лице и руках Эрнеста никогда не было следов долга уважения к родителям, в то время как его сосед по парте Рихард приходил, бывало, с неровным горбиком пластыря вместо носа. Но над Эрнестом почти всегда витал сладкий запах меда и горьковатый аромат еловой смолы. Так пах заживляющий суперэффективный бальзам «Талика». Если бы Имме не знала, как пахнут целые дети, то вполне уже могла бы считать аромат бальзама собственным запахом мальчика.

Имме была уверена, что Генрих не заметил ее гримасы, так как был занят своим сыном. Но Генрих оказался очень остроглазым и теперь, видимо, собирался выяснить, неужели учительница не одобряет методов воспитания детей, освященных вековыми традициями Тотгендама?

Или же он собирался сделать кое-что совсем другое.

Лицо Генриха выражало самую предупредительную любезность. Но неписанные правила поведения не рекомендовали молодым свежим женщинам оставаться с мужчинами наедине даже в школьном классе. Имме украдкой подумала о своем шиле, которое лежало в шкафу около двери. Она направилась было к шкафу. Генрих одним движением оказался совсем рядом и между прочим преградил ей путь к выходу.

– Вы зря беспокоитесь, – пробормотала Имме. – Ваш Эрнест очень старательный и прилежный мальчик.

Генрих приблизил губы почти к самому уху молодой учительницы. Имме ожидала, что ее окатит волна вонии полуразложившегося трупа, естественного для взрослых мужчин Тотгендама. Но вместо этого она ощутила аромат фиалок и окопника – «Настоящего мужчины», самого дорогого одеколона в производимой Таликами линейке парфюма для мужчин. Одеколоны с ароматом кедра, сосны и кофе, а также дезодоранты на основе березового дегтя для тех, кто победнее, были второй по доходности статьей фабрики Талика. Однако «Настоящий мужчина» не мог полностью заглушить едкий запах формалина. Чувствовался он, впрочем, только когда Генрих стоял вплотную к собеседнику. Имме знала, что это означает. «Что же, Талики могут себе это позволить», – подумала она. От шила, всегда спасавшего Имме от охотников за свежей плотью, в этот раз могло не оказаться никакого проку. «Почему я не купила бутылку кислоты, – подумала Имме в отчаянии. – А ведь Серени предлагала, и недорого».

Серени, подруга Имме, была хозяйкой самого дорогого косметического салона Тотгендама. Еще сто лет назад женщину, владеющую такой большой химической лабораторией, сожгли бы на костре как нечестивую ведьму. Но тотгендамцы шли в ногу со временем и уже не верили в бабушкины сказки про страшные колдовские зелья, превращающие людей в жутких монстров. Этими зельями теперь пользовались, чтобы чистить и омолаживать кожу. Но зелья по-прежнему годились не только для этих невинных целей.

– А почему вы тогда поморщились? – осведомился Генрих.

Имме отодвинулась от него и оказалась у шкафа, где лежало заветное шило. В конце концов, лучше шило в руках, чем гнилой член в жопе, как говаривала Серени.

– Вы же знаете, – сказала она. – Не стоит усердствовать в воспитании таких маленьких детей.

– Он уже не ребенок, – возразил Генрих. – Годен для школьной скамьи, годен и для воспитания!

На слове «воспитания» он привычно ловким движением схватил Имме за талию. Она отпрянула. Он наклонился, чтобы насладиться прелестями ее свежей груди прямо сквозь строгую блузку. Генрих еще успел процедить сквозь зубы:

– Да не рыпайся ты, как цел...

Рука Имме скользнула за стопку учебников, стоявших на полке. На мгновение ей показалось, что шила там нет, и она приглушенно вскрикнула. Генриха это только раззадорило. Он решил, что Имме кричит от страха, и это было как раз то, чего он хотел и ожидал услышать. Круглая янтарная ручка шила легла в руку Имме. Она отработанным движением ткнула Генриха в живот. Имме с ужасом ожидала, что острие скользнет по твердой, как дерево, мумифицированной поверхности. Раздался чавкающий звук. Шило прорвало ткань и плоть – к большому облегчению Имме, еще не обработанную консервирующим раствором. Генрих закричал и отшатнулся. Волна гноя выплеснулась на юбку Имме и на пол. Генрих несколько мгновений смотрел на зеленовато-черную зловонную лужу. Растерянность на его лице сменилась злостью. Имме, прижавшись спиной к шкафу и крепко сжимая в руках шило, ждала, что будет дальше. Генрих перевел взгляд на нее и сказал раздраженно:

– Дура. Отец наш. Шагни, ну и дура же ты!

Рука Имме с шилом нервно дрогнула. Генрих издевательски засмеялся.

– Сегодня, – произнес он сухим, официальным тоном. – Совет почтенных горожан нашего города обсуждал закон, который уже давно пора было принять. Об утилизации женщин старше двадцати пяти лет, не выполнивших своего священного долга. Как известно, после этого возраста вы становитесь настолько гнилыми, что уже и не можете его выполнить. И значит, не приносите никакой пользы городу.

Имме шумно выдохнула.

– Я проголосовал «за», – продолжал Генрих, глядя на нее в упор. – Исключение будет сделано только для тех женщин, кого обследует специальная комиссия в моем лице. Если я приду к заключению, что вы, фройляйн Имме, уже не в силах выполнить ваш священный долг, вам придется прогуляться в карьер. Запасы черножизни иссякают, а экспорт черножизни, как вам наверняка известно, является основой экономики Тотгендама. Мы готовы принять самые жесткие и непопулярные меры для решения этого вопроса.

Он направился к выходу из класса. У дверей он остановился. Пятно гноя на его белоснежной рубашке выглядело отвратительно.

– Сегодня вечером комиссия посетит вас, – сказал Генрих. – Подготовьтесь.

И покинул класс.

Имме опустилась на колени и разрыдалась.

* * *

Тотгендам не всегда был отрезан от суши. В древности этот большой остров, расположенный почти в центре крупного озера, соединялся с материком песчаной косой. Она была очень узкой и причудливо извивалась, словно пуповина. Между материком и островом было не больше пятнадцати лиг чистой воды, но если двигаться по косе, пришлось бы пройти все двадцать. Предки жителей города пришли по косе, спасаясь от бушевавшей в ту пору бесчеловечной войны. Годы изменили многое, и в том числе и перерезали пуповину, связывавшую Тотгендам с внешним миром, – коса скрылась под водой, и теперь немногие старики помнили о том, что раньше на материк можно было добраться и посуху.

Но эта весна выдалась жаркой, и коса показала из воды свою горбатую спину. Казалось, что под водой затаился хищный ящер, и только торчащие наружу шипы на хребте выдают его. Он был готов броситься на прибрежный луг, заполнить его своим чешуйчатым телом, но пока не делал этого. Возможно, его сдерживали развалины башни, которые рыжели на холме, словно спящий боевой мамонт. Некогда веер стрел, раскрытый лучниками из бойниц сторожевой башни, сметал с берега вражеские отряды. Потом, насколько знал Гийом, в башне хранились магические снадобья для поддержания защитной сферы над островом. Жители Тотгендама не жаловали гостей, как людей, так и некоторых животных и насекомых. Позднее в башне находился храм. А затем башню оставили.

Жители Тотгендама все еще помнили имя своего истинного создателя. Но жили по заветам того, кто ненавидел их с момента появления на свет.

Границу городских владений издревле обозначали два почерневших каменных столба. Они стояли в том месте, где некогда коса утыкалась в мягкое брюхо острова. Но сейчас из высокой травы торчал только один клык, да и он был сильно раскрошен дождями и ветром. Гийом оглянулся, ища второй. Столб лежал в траве и был почти незаметен из-за покрывавшего его буйного мха. Весенние ручейки вывернули его из земли и стащили вниз, почти к самой воде. Гийом вздохнул. Не мох должен был покрывать клыки, и не от времени они почернели. Густо замешанные на черножизни чары пропитали столбы насквозь. Только поэтому магическая защита острова продержалась еще – Гийом чуть склонил голову, прикидывая – да, еще лет десять после того, как жители Тотгендама перестали выполнять обряды,

от которых зависела их жизнь. Теперь дорога на остров была открыта не только людям, но и всем тварям, которым по вкусу гнилая и не очень плоть.

У Гийома были очень широкие взгляды на то, что стоит считать жизнью. А вот у высокого мужчины в белой хламиде, неторопливо гулявшего по глади воды в бухточке, совсем другие. И в очищении земли от грязи он не брезговал никакими средствами. Сейчас он поджидал санитаров, на создание которых он пустил не только чары, но даже некоторую часть собственной плоти. Мужчина приблизился к берегу, заметил Гийома и презрительно скривился.

– И ты здесь, – процедил он.

Гийом усмехнулся и кивнул.

– И не надоели они тебе, – сказал мужчина.

Гийом двинулся ему навстречу. Тот попятился. Гийом вошел в заросли камышей, срезал один из них. Когда он вышел на берег, мужчина уже сидел на поваленном столбе. Гийом сел на дальний его край и принялся делать из камыша дудочку.

– Как всегда, – пробормотал мужчина. – Но ведь они – плоды твоей ошибки. Разве тебе не хотелось бы, чтобы они исчезли и перестали напоминать о том, что однажды ты оступился?

Гийом отрицательно покачал головой.

– Не понимаю я ваших, – сказал мужчина. – Любая женщина стирает пятно грязи на полу, чтобы оно не повредило ее репутации безупречной хозяйки! Ты не заботишься о своей репутации?

Гийом рассмеялся, не разжимая губ, и снова отрицательно покачал головой. Его собеседник вздохнул, отвернулся и стал смотреть на другой берег. Трава на нем сильно колыхалась, словно от ветра. Но на водной поверхности не было ни морщинки. Гийом закончил, убрал нож и встал.

– До встречи, Гейб, – сказал он вежливо и двинулся к развалинам.

Гейб проводил его мрачным взглядом. Затем пошевелил пальцами так, словно собирался играть на рояле, и разминал руки.

Трава на другом берегу пошла волнами.

* * *

Генрих постучал еще раз, хотя уже понял, что дом пуст. Хорошенький, небольшой дом, утопающий в цветах, которые развела еще мать Имме. Хуана была с другого берега. Она принесла рассаду с собой в Тотгендам, когда вышла замуж.

Генрих повернулся, окинул взглядом окрестности, что-то прикидывая. Эта полоумная – но такая свежая, аппетитная Имме – решила поиграть с ним. Что же, он не против. Было только одно место, куда она могла пойти. Генрих усмехнулся. Многие девушки питали нелепую убежденность, что в развалинах на лугу их никто не сможет найти. Но их всегда находили там, и он найдет там Имме. Он повалит ее в траву, вкусит наконец ее свежей плоти, которую она так старательно оберегала.

Генрих направился на луг. Вечерело, от травы тянуло сыростью. Он поежился. Сырость плохо влияла на жителей Тотгендама. Генрих не был исключением. По дороге он размышлял о родителях Имме. Почему они так преступно подошли к воспитанию дочери? Чета Хайссов всегда была тихой и незаметной. Кто бы мог подумать, что в их доме творится такое! Как они могли не воспитать в ней уважения? «Как же они жили? – невольно задумался Генрих. – Чем питались?»

У четы Таликов было двое детей. При экономном подходе к ежедневному рациону им вполне хватило бы уважения к ним старшего, Франка, который в этом году заканчи-

вал школу. Но, как было известно каждому жителю Тотгендама, у Генриха были большие аппетиты во всем. Обычно Генриху хватало ума сдерживаться или хотя бы не воспитывать Эрнеста при посторонних. Эта лицемерка Имме была права – чрезмерное усердие при получении долга уважения от маленьких детей не одобрялось. Дошкольников вообще было запрещено воспитывать традиционными средствами, поскольку в таком случае они часто не доживали до поступления в первый класс. А рождаемость в Тотгендаме последние пятьдесят лет неуклонно падала. Власти винили в этом женщин, которые вступали в брак все позже и позже, когда уже были сильно подгнившими. Сей прискорбный факт не мог не сказаться не только на качестве исполнения ими супружеских обязанностей, но и на способности к деторождению. Таковы были причины появления закона, который был принят сегодня в ратуше большинством голосов.

* * *

Вот уже лет двадцать торговля с внешним миром велась через паром, стоянка которого находилась с другой стороны острова. Но мать среди прочих полезных тайн поведала Имме о перешейке, что некогда связывал Тотгендам с материком, и о том, где находится брод.

Имме нагнулась, закатала подол. «Детей нужно учить везде, – в сотый раз повторила она себе. Проверила, надежно ли завернуты в вощеную бумагу документы, и ступила в воду. После духоты сегодняшнего не по-весеннему жаркого дня вода показалась Имме приятно прохладной. Жители Тотгендама любили холод. На жаре тела разлагались быстрее, и тут уж ничто из снадобий Таликов не могло помочь. Последние несколько лет выдались необычайно теплыми. Грядущее лето, судя по всему, будет таким же. Пастор Люгнер объяснял, что в потеплении климата виноваты колдуны, живущие на материке. Это их грязная магия иссушает землю и добела раскаляет небо. Они погрязли в грехах, и Тотгендам с его жителями, чистыми душой и верными традициям, был для них как бельмо в глазу.

– Там дети забыли об уважении к родителям! – гремел пастор, обличаяще указывая на запад (а иногда и на восток, что не меняло сути дела – благочестивый Тотгендам со всех сторон был окружен врагами). – Если родители пытаются преподать своим детям урок, который они заслужили, то нечестивые власти отбирают у них детей!

Имме знала, что правды в словах пастора редко бывает больше, чем мяса в пирожке с соей. Люгнер сам удивился бы, наверное, узнав, что в этот раз он нечаянно сказал правду. Хуана, мать Имме, ни разу за всю свою жизнь не укусила дочку.

Имме тряхнула головой, отгоняя ненужные воспоминания. Она сделала второй шаг на пути из Тотгендама – уже гораздо более уверенный и широкий, чем первый.

Кто-то грубо схватил ее за плечи и поволок назад, на берег.

Черная ярость отчаяния ослепила Имме. Она с ловкостью ящерицы вывернулась в руках того, кто ее тащил. Имме была уже готова сделать то, чего не делала никогда. Хотя, если бы кто-нибудь узнал об этом, над ней долго смеялись бы. В короткой мгновенной вспышке перед ней мелькнула мать. Время стало очень медленным...

Фрау Хуана любила после обеда посидеть в саду, в своем любимом кресле-качалке. Имме обычно располагалась рядом со своей вышивкой. Вторым обязательным атрибутом этих томных, теплых вечеров была трубка в руках Хуаны. Как-то, выпустив причудливый клуб дыма, Хуана сказала дочери:

– Как только ты укусишь кого-нибудь, ты начнешь гнить.

Имме недоверчиво подняла глаза на мать. Взрослые кусали детей и друг друга, да и дети не отставали от них. Тело Имме все было покрыто мелкой сеточкой полукруглых шрамов. Папа, насколько знала Имме, тоже раньше кусал маму. И теперь Имме поняла, почему

он перестал. Видимо, мать открыла ему то же самое. Имме отец не кусал никогда. Хуана родила дочь только после того, как Бамбер вполне внял ее наставлениям.

– Но ведь все делают это, – сказала Имме.

Хуана хрипло рассмеялась. Так скрипит заржавленная цепь на воротах, когда из шахты поднимают лоток с драгоценной черножизнью.

– Правильно, – сказала она. – И к тридцати годам эти твои **все** уже ходячие трупы, наполненные гноем. Мне шестьдесят, доченька. На моем теле есть хоть одно пятно гнили? А ведь я еще и курю, а это тоже вредно.

Имме оскалила зубы. У каждого, кого укусили хотя бы раз, в момент опасности клыки и резцы увеличивались, становясь более острыми. Имме была девушкой красивой. От знаков внимания со стороны восхищенных мужчин ее не всегда спасало даже шило. Имме ощутила, как ее клыки разбухают. Это было болезненно, но одновременно и приятно. А вот Генриху вряд ли будет приятно, когда эти клыки вонзятся в его...

Но не Генрих сейчас сжимал ее в руках и тащил прочь от воды.

Изумленная Имме отпрянула от незнакомого черноволосого мужчины. Они были уже в развалинах старой башни. Имме мимолетно удивилась. Ей помнилось, что та находится далеко от берега.

– Смотри, – сказал мужчина и указал рукой на брод.

Имме осторожно, не выпуская незнакомца из виду, покосилась туда. В следующий миг она позабыла о том, что находится с незнакомым мужчиной в очень даже уединенном месте. И этот мужчина крепко прижимает ее к себе.

* * *

Генрих бодро шагал по старой дороге, вымощенной светлым камнем. Из-за этого она словно бы светилась в сумерках на фоне темной травы. Генрих думал о законе, принятом сегодня, и все больше убеждался, что совет горожан поступил правильно.

Большая часть мужчин в Тотгендаме давно были уверены, что женщины сразу по достижении двадцати пяти лет должны отправляться в карьер. С воспитанием детей мужчины Тотгендама справились бы и сами. Самые лучшие дети – те, кого воспитывали отцы, это всем известно. «Да и делиться ни с кем не пришлось бы», – думал Генрих, невольно морщась. Его супруга ела слишком много, не смущаясь тем, что неумеренный аппетит считался самой безобразной чертой для жительниц Тотгендама. Благодаря проповедям пастора Люгнера, клеймившего грех чревоугодия как самый отвратительный, многие женщины строго ограничивали себя в пище. Почти каждая горожанка Тотгендама сидела на диете. Счетчики калорий и пластырь, отбивающий чувство голода, также были одной из самых доходных статей в семейном бизнесе Таликов.

Но Марта считала, что она не такая, как все, и что ей можно. Эрнеста она по-бабьи жалела, но никогда не забывала воспользоваться случаем получить долг уважения от старшего сына, Франка. Несмотря на очевидную популярность женщин сухопарых, с изящными формами, она любила щеголять фразами «мужчина не собака, на кости не бросается». И несмотря на то, что Марта всегда жрала в три горла, на зависть подругам она довольно долго оставалась свежей, без единого пятнышка гнили. Но после вторых родов Марта совсем запустила себя. Генрих неоднократно намекал супруге, что чем дальше зашел процесс гниения, тем дороже обойдется мумификация, которая продлевала срок жизни в разы. Но Марта не хотела его слушать. Она исполняла свой супружеский долг, без особого усердия, впрочем, и Генриха при этом чуть не тошнило от вкуса ее огромного гнилого брюха.

Генриху снова вспомнилось мягкое, живое тело Имме. От запаха свежего пота – она еще потела, великий Шабгни! – у Генриха всегда текли слюнки. Генрих уже добрался до луга, до развалин оставалось рукой подать. Солнце зашло. Мягкая, как шерстяной плед, темнота спустилась с неба, запуталась в высокой траве и надежно укрыла стога свежего сена в его дальней части.

Вот почему Генрих не смог увидеть *их*. Но топот множества маленьких ног услышал. Заинтересованный Генрих остановился. Кто-то приближался от реки. Дети любили играть на лугу – хотя бы потому, что им это запрещали. Но было уже очень поздно. Маленьким шалунам пришлось бы дорого поплатиться за свое непослушание по возвращении домой. Или – Генрих облизнулся – еще по дороге домой.

Они появились из травы. Сначала Генриху показалось, что на него, пожирая светлое тело дороги, надвигается серый лохматый ковер. Потом он услышал разноголосый писк. Крупная крыса, шедшая в авангарде, остановилась и приподнялась на задние лапки. Ее длинный нос зашевелился. Крыса издала радостный, торжествующий вопль.

И прыгнула Генриху прямо на живот.

* * *

Когда душераздирающий вой Генриха стих за холмами, Имме обнаружила, что хохочет, как девчонка. Незнакомец, тоже улыбаясь, смотрел на нее.

– Я хотел спасти тебя от крыс, – сказал он.

Ноздри его зашевелились.

– Хотя, похоже, я старался зря, – заключил он.

Имме начала понимать.

– Они нападают только на... – произнесла она и запнулась.

Он кивнул:

– Крысы Гейба очищают мир от всего, что уже мертво и разлагается. Живых они не трогают. Такие отвратные создания, а несут в мир чистоту. Забавно, правда?

Но Имме уже не слышала его. Она смотрела.

Луна взошла. Обнаженное тело незнакомца казалось серебряным в ее бледном свете.

– Я собирался искупаться, – ничуть не смутившись, сообщил незнакомец.

– Но крысы... – начала Имме.

Тут она окончательно осознала, что на теле мужчины нет ни одного темного пятна гнили. Он не представлял никакого интереса для крыс. Имме, как зачарованная, начала обходить мужчину по кругу, не отводя с него взгляда. Больше всего ее поразило, что на мужчине нет и ни единого так хорошо знакомого ей полукруглого рубца – следа от зубов. Мужчины Тотгендама берегли своих женщин и сильно не усердствовали. Но считалось, что шрамы украшают мужчину, и иногда они загрызали друг друга до смерти. Так случилось и с отцом Имме. Начальник ел его поедом, смаковал, отгрызая по кусочку. Пока, собственно, есть стало нечего.

– Меня зовут Гийом, – представился мужчина.

Она снова хотела взглянуть на его живот. Он отвернулся, заслоняясь.

– Имме, – сказала она.

– Очень приятно, – произнес Гийом. – Теперь я могу одеться?

Они впервые посмотрели друг другу в глаза.

– Или не надо? – мягко уточнил он.

* * *

Имме отдала Гийому половину копченого мяса, которое прихватила с собой в дорогу. Но когда он достал из своего походного мешка круглые зеленые предметы и квадратный желтый брусок, даже не поняла, что он тоже решил поделиться с ней едой.

– Это яблоки, – сказал Гийом. – А это – сыр. Яблоки сладкие, сыр – соленый. И еще где-то у меня был хлеб...

Гийом снова полез в мешок. Имме поперхнулась яблоком.

В церкви Тотгендама центральной была фреска, на которой полный мужчина записывал в рот одного младенца, держа в свободной руке второго. Смиренная супруга уже подавала ему следующего ребенка, только что вынутого из собственного лона. У него даже не была перерезана пуповина. В детстве этот окровавленный жгут казался Имме хвостом ребенка. Младенец же напоминал ей огромную крысу.

– Вот истинно праведная женщина! – изрекал Люгнер, указывая на эту фреску. – Ибо каждая жена должна в первую очередь заботиться о том, чтобы ее муж был сыт! Так и только так может жена искупить свой страшный грех, из-за которого боги наказали нас всех! Ибо поленилась первая жена исполнить свой супружеский долг. Вместо хорошего, сочного и нежного куска мяса поднесла своему мужу хлеба!

Последнее слово Люгнер всегда выплевывал так, словно оно обжигало ему рот. А Имме украдкой думала – поскольку уже тогда умела размышлять украдкой, – что хорошо было бы хоть раз увидеть, как выглядит этот самый хлеб. И попробовать. Все равно терять нечего – проклятие Шабгни уже пало на головы всех жителей Тотгендама.

Хлеб оказался рыже-коричневым полукругом с серой мякотью. Гийом истолковал любопытный взгляд Имме неправильно.

– Сам по себе хлеб не ядовит, – сказал он.

Имме молча посмотрела на полустертую фреску за его спиной. Гийом знал, что там нарисовано. Роспись старого храма сильно отличалась от фресок той церкви, где пастор Люгнер читал свои воскресные проповеди. Изображения смиренной праведной жены здесь не было. На стене за Гийомом был нарисован огромный, крепко сложенный мужчина в черном. Он протягивал маленьким мужчине и женщине красный ломоть.

– Шла война, – терпеливо сказал Гийом. – Одному из демонов поручили наложить на зерно – это такие маленькие штучки, из которых делают хлеб, – весьма сложные чары. Каждый, кто пробовал хлеб, испеченный из этого зерна, просыпался мертвым. И очень голодным, и это был особый голод... Да ну это ты знаешь. Но на последней партии зерна демон схалтурил. Ему не хватило одного ингредиента для заклятия... и он подумал, что и так сойдет.

Гийом вздохнул:

– Не сошло. Вы проснулись голодными. Но не мертвыми.

Глаза Имме округлились. Гийом не удивился ее невежеству. Он знал, что люди Тотгендама давно похоронили правду о себе в руинах брошенного храма вместе с яблоками, которые привлекали червей, и сыром, который привлекал мух. И черви, и мухи оказались неразборчивы в выборе пищи, а некоторым из них разлагающиеся тела людей пришлось по вкусу даже больше яблок и сыра. Людям Тотгендама пришлось изгнать мух и червей вместе с сыром и яблоками и накрыть город магической сферой, замешанной на крови и черножизни. Имме перевела взгляд с фрески на Гийома и обратно. Что-то сверкнуло в ее глазах.

– Не хочешь, не ешь, – сказал он и положил хлеб рядом с яблоками.

Имме протянула руку и отломала кусок хлеба. Затем отправила его в рот.

– Вкусно, – заметила она, прожевав.

Гийом взял кусочек мяса.

– Вчера ты хотела покинуть Тотгендам, – сказал он. – Ты не передумала?

– Нет, – сказала Имме.

– Почему ты не ушла раньше?

Имме пожала плечами:

– Гнилой или нет, но это мой город. Я решила уйти, потому что не могу больше здесь оставаться, я погибну. Если бы не это... Если бы хоть что-то изменилось, если бы я могла что-то изменить... я бы никогда не покинула его.

Гийом вспомнил того несчастного идиота, который первый попался на зуб крысам Гейба, и наконец сообразил, почему сам чуть не лишился половины уха при знакомстве.

– Да, но сегодня все изменится, – сказал он. – И как изменится Тотгендам, будет зависеть от вас. От всех, кто остался и не бросил родной город, хотя он и не лучший на земле.

Гийом посмотрел поверх края обрушенной стены на солнце, начинавшее свой ежедневный путь по небу.

– Город очистится от гнили, – сказал он. – Разве не об этом ты всегда мечтала?

Солнце отразилось в глазах Гийома и сделало их алыми.

– Обычно проклятие – это навсегда, – сказал он. – Но у каждого человека в этом проклятом городе есть выбор. Тотгендам и впрямь уникальный город. В этом ваши жрецы не врут.

2

Идти домой было слишком поздно, на работу – слишком рано. Имме выбрала школу. У нее в классе имелся уютный диванчик. Обычно она читала на нем сказки своим малышам после уроков, но и прикорнуть на нем тоже было можно. Если бы она заснула на диванчике, то вероятность опоздать на собственные уроки была гораздо ниже, чем если бы она решила вздремнуть дома.

Школа была пуста и тиха, но, как оказалось, не совсем. Несмотря на то что до начала занятий оставался еще час, молодую учительницу уже ждали. В коридоре навстречу Имме со скамейки поднялась грузная фигура. Имме озадаченно уставилась на фрау Марту, жену Генриха. Лицо фрау Марты исказила чудовищная гримаса – смесь ненависти, ярости и облегчения. И Марта бросилась с места в карьер:

– И на работу она первая приходит! Ишь, скромница и аккуратница! А на деле все вы, тихони, еще гнилее, чем мы! Только прикидываетесь чистенькими, правильными, глупенькими!

Ошарашенная Имме молчала, ничего не понимая.

– Заведи себе своего мужика! – распаляясь, продолжала Марта. – И гной ему отсасывай, и супружеский долг отдавай, и детей рожай! И тогда будешь право иметь в три горла жрать! А то, посмотрите-ка на нее, нет, ну правда! До костей бедного мужика обгрызла! Чужого причем!

И тут Имме поняла, что Генрих, вернувшись домой поздно и весь обгрызенный, свалил все на нее. Он не сказал жене о нападении крыс – да и разве бы фрау Марта поверила ему? – а обвинил свою якобы любовницу в непристойном аппетите.

Имме на миг увидела происходящее глазами фрау Марты. Ситуация, так, как ее видела фрау Марта, была не только неприятной, но и опасной.

Развод в Тотгендаме был известен только в качестве отвратительных обычаев людей с материка. Однако не дальше, как месяц назад, казначей Тотгендама отправил в карьер свою жену, с которой прожил двадцать лет, и женился на шестнадцатилетней дочке владельца косметического салона, свежей и упругой, как мячик. Разумеется, о смерти его первой жены имелось санитарное заключение. Но рабочие из карьера поговаривали, что перед тем, как успокоиться окончательно от удара лопатой по голове, отчаявшаяся, обезумевшая от горя покойница успела в двух местах перегрызть руку парнишке, что крутил ворот лотка, на котором ее должны были опустить в карьер. Фрау Марту трясло не от ярости, а от ужаса. Или от того и другого сразу. «Закон об утилизации женщин, – вдруг вспомнила Имме. – Она не может не знать об этом». Марта знала, что если Имме не выйдет замуж в ближайших днях, то отправится в карьер. Она думала, что Имме готова на все, чтобы избежать этой прогулки. И в данном случае этим «всем» был Генрих Талик, насквозь прогнивший муж Марты. На самом деле Генрих не вызывал у Имме ничего, кроме отвращения. «Пожалуй, даже если сказать Марте правду – что это Генрих преследовал меня, она мне не поверит», – подумала Имме. Фрау Марта была практичной женщиной и никогда бы не поверила в то, что молодая учительница с весьма скромными доходами отказалась бы от возможности стать любовницей, а то и женой одного из самых богатых людей города. Подобное не вписывалось в ее картину мира. Имме же как раз по этой причине и не выходила замуж. До тех пор, пока кровавым кошмаром был только внешний мир, с этим еще как-то можно было смириться. Но по собственной воле превращать свой уютный и тихий дом в поле жестокой битвы, в которой Имме была обречена на поражение и знала это, она не собиралась.

«Если я скажу ей, что вовсе не я обгрызла Генриха. Что это он прижимал меня к вот этому шкафу и погнался за мной даже на луг – Марта разъярится еще сильнее на меня за то,

что я ей вру», – сообразила Имме. Ей доводилось слышать от досужих кумушек, упустивших свой шанс продать себя подороже и люто завидовавших молодым, свежим женщинам, что и одевается она нескромно, и ходит развратно, и улыбается призывно. Сказать то, что жгло им язык, они не могли, а вот перешептываться за спиной, уничтожая современную молодежь хотя бы словами, у них получалось хорошо. Имме поморщилась и подумала: «А теперь этим полусгнившим старухам представился шанс уничтожить нас на самом деле. Они очень многое выиграют, когда нас, свободных молодых женщин, не станет. Когда нас всех отправят в карьер».

Фрау Марта продолжала изливаться свою душевную боль:

– Я одного не понимаю, чем ты вонь отбиваешь. Ведь тебе уже двадцать пять!

Лицо ее почернело от прилившей к нему крови. Воздух со свистом вырывался из горла. Аромат фиалок и березовых почек – самой изысканной туалетной воды, производимой Таликами, – сдался под напором естественного запаха Марты – сладкой вони разлагающегося, несмотря на все ухищрения косметологов, тела. Марта подняла свою толстую рыхлую руку, чтобы ударить Имме. Но взглянула ей в лицо и передумала. Марта на ходу изменила жест и поправила прическу.

– Тебе пора уже первый укол формалина делать... а нет, туда же! – неистово прокричала Марта. – Все изображают из себя свеженьких девочек! Все скачут, прыгают, сиськами трясут! Из тебя скоро песок посыплется, и ты это знаешь! Ловишь свой последний шанс, шлюха? Так вот, знай: моего мужа ты не...

В тот миг, когда она заговорила о формалине, Имме заметила серую деловитую мордочку в большей щели между полом и плинтусом. Фрау Марта говорила что-то еще, а крыса неторопливо протискивалась наружу. Имме следила за ней как зачарованная. Крыса выбралась наружу, подошла к фрау Талик и деловито понюхала ее туфли. Имме была готова поклясться, что крыса довольно улыбнулась. Во всяком случае, Имме отчетливо видела, как крыса радостно потерла лапки. А затем крыса открыла пасть и негромко пискнула. Фрау Марта посмотрела вниз, рассерженная тем, что ее отвлекают.

– Что это? – совсем другим голосом спросила она.

– Это крыса, – пробормотала Имме.

Точнее, это были три крысы. Товарищи смелого разведчика уже расширили щель и присоединились к нему.

Фрау Марта с отвращением произнесла:

– Грязь в голове – грязь в доме!

Крысы разошлись широким полукругом. Две атаковали ноги фрау Марты, а третья, самая крупная, разбежалась и ловко запрыгнула ей на живот. Фрау Марта глянула на Имме и осеклась. Учительница была совершенно не удивлена таким поворотом событий.

И тогда фрау Марта закричала от настоящей боли.

* * *

Гейб появился из-за полуразрушенной колонны неслышно, словно дух.

– Ты играешь нечестно, – со сдержанной яростью заметил он. – Впрочем, вы всегда...

Гийом отложил камышовую дудку, на которой насвистывал какую-то простую мелодию.

– Нет, – меланхолично сказал он. – Она сделала выбор сама. Я не принуждал ее и не обманывал.

– Выбор! – презрительно произнес Гейб. – Нет никакого выбора. Они все обречены еще до рождения. Никто не в силах этого изменить. И ты знаешь об этом!

– Да, Гейб, – неожиданно согласился Гийом. – Так думают светлые. Человек ничего не решает, от него ничего не зависит. Что может вообще зависеть от воли одного-единственного человека? От того, какой выбор он сделает?

Гийом поднялся, сунул дудку в карман

– Извини, что больше не могу с тобой беседовать. Мне пора.

Гейб проводил его взглядом, полным раздражения и ненависти.

* * *

Имме оторвалась от тетрадей, которые проверяла, сидя в своем классе на диванчике. Вроде бы в дверь класса постучали. Или показалось? За дверью, словно горная река в узком ущелье, ревела и выла на все голоса большая перемена. Стук повторился.

– Войдите, – сказала Имме.

За дверью оказался Франк Талик. Глаза у него были такие же темные и пустые, как и у его брата. Вот уж кого Имме ожидала увидеть в последнюю очередь. Имме ничего не вела в старших классах, но часто встречалась с Франком. Франк забирал Эрнеста с продленки, и делал это чаще, чем фрау Марта или Генрих. Франк был таким же молчаливым, как и его младший брат, и ничего, кроме обязательных формул вежливости, Имме от него никогда не слышала. Но по разговорам в учительской знала, что этот молчаливый парнишка учится чуть лучше, чем дерется, а дерется он жестче всех остальных выпускников. Имме посмотрела на Франка с любопытством, но и с опаской тоже. Это был третий визит членов семьи Таликов за последние три дня, и ничего хорошего первые две встречи не принесли. Зачем старший наследник Таликов пришел к ней? «Может, его мать подослала?» – чувствуя, как холодеет в груди от сдерживаемого гнева, подумала Имме.

Имме молча смотрела на Франка, ожидая, что он скажет. Но тот не произнес ни слова. Рубашка на груди Франка зашевелилась. Он засунул руку за пазуху и достал оттуда крысу. В отличие от многих своих сородичей скромного серого цвета, эта была белой.

Перемены, которые обещал Гийом, начались в Тотгендаме уже на второй день после прихода крыс. Многие ребята из старших классов сумели поймать этих зверьков, принесли их с собой и использовали их в качестве аргумента при ответах на вопросы учителя. Особенно досталось фрау Адальберте. Это была учительница старой закалки. Директриса очень уважала и ценила ее. Имме же методы обучения фрау Адальберты внушали ужас. Как-то на учительских посиделках Имме робко заметила, что родители очень уж усердствуют в воспитании Франка – каждый раз, приходя за братом, он излучал оглушительный запах кедровых шишек и меда.

– Э, милая! – покровительственным тоном ответила фрау Адальберта. – Пару лет поработаете, бросите все эти глупости. Пожалеешь зубы – испортишь ребенка!

Но Имме никогда не кусала своих учеников. Когда фрау Адальберта распекала ее за недостойную мягкость, Имме кротко отвечала, что ей жаль ребятишек. Что они еще слишком маленькие, чтобы отдавать свой долг уважения учителю в полной мере.

– Дождешься, что они тебе на шею сядут и уши отгрызут! – обычно презрительно отвечала на это фрау Адальберта.

Сегодня фрау Адальберта лишилась не только ушей, но носа и левого века. Ученики натравили на нее сразу трех крыс. Пока школьная медсестра обмазывала ее раны березовым дегтем и касторовым маслом, фрау Адальберта стенала о диких и опасных тварях, которых давно надо было выдрессировать как следует (имелись в виду ученики). А второклассники Имме за два последних дня ни разу не притащили в школу крысу. Ни одну.

И вот ее принес Франк. Он приблизился к молодой учительнице. Крыса сидела в лодочке из его ладоней и с интересом поглядывала на Имме.

– Ты хочешь натравить ее на меня? – спокойно спросила Имме. – Но я ведь ничего плохого тебе не сделала, Франк. Да и у тебя не получится.

– Я знаю, – ответил Франк. – Откройте сумочку, пожалуйста.

Имме выполнила его просьбу.

Он ловко опустил зверька между тетрадами, которые Имме взяла домой на проверку, и классным журналом, который она собиралась заполнить. Крыса зашуршала, устраиваясь. Из сумочки показался ее розовый нос и любопытный красный глаз.

– Это надежнее, чем шило, – сказал Франк и ушел.

Имме проводила его задумчивым взглядом. Людей Тотгендама, которые могли взять в руки крысу, можно было пересчитать по пальцам. И меньше всего Имме ожидала, что Франк окажется одним из них.

* * *

Фрау Герда сидела прямо перед Имме, и она видела россыпь темно-красных пятен у нее на шее. Они не могли быть ничем иным, кроме как отметинами от маленьких острых зубов. Фрау Герда пыталась спрятать следы укусов под пышной прической, но волосы растрепались – Герда то и дело энергично трясла головой. Кораблик, укрепленный в волнах ее волос, кидало из стороны в сторону – он попал в серьезный шторм.

– Все ведь им отдавали! – яростным шепотом говорила Герда на ухо своей соседке, худой и светловолосой Ирене. – Сама знаешь, сколько детское питание стоит! Только на них и горбатились. Отец без продыха в карьере, а я...

Ирена печально кивала. Сколько стоит детское питание, знала даже Имме, вынужденная подслушивать разговор двух сидящих впереди почтенных фрау. С материка поставлялись не только стеклянные баночки с кашами и овощными пюре, но и взрослое питание. Это были красивые небольшие коробочки из фольги, в которых можно было найти тушеное мясо с картофельным пюре и вялыми овощами, каши в пакетиках, которые нужно было разводить кипятком, лапша с кусочками мяса, которая приготавливалась так же. Но, в отличие от детского питания, еду для взрослых провозили на остров контрабандой, что существенно сказывалось на цене. Большинству взрослых жителей Тотгендама такая еда была уже не нужна. Считалось, что каждый достойный гражданин сам переходит на «взрослую» пищу. Отказ от всех этих каш, пюре и тушеного мяса считался моментом превращения подростка во взрослого человека. Юные горожане торопились повзрослеть. Тотгендамцы выбирали естественную пищу, без консервантов и прочих отвратительных добавок. Те, кто засиживался на кашах и супчиках, могли быть даже казнены за свои греховные пристрастия. Все помнили, к чему уже однажды привела любовь к хлебу. Почти вся зарплата Имме уходила на еду. Каждый раз перед встречей с торговцем Имме испытывала противный скользкий ужас – а вдруг он не придет? Так уже однажды случилось. Купцы сказали, что Андреас скончался. Ничего удивительного в этом не было, торговец был ровесником Хуаны. Имме помнила черное отчаяние, охватившее ее при этом известии. Так она не оплакивала даже смерть матери. Имме месяц пришлось сидеть на крапивном супе. И как найти другого поставщика? С Андреасом Имме познакомил Хуана. Он торговал тканями. Аккуратно запаянные коробки с едой он прятал среди парчи и шерсти. Как открыться совершенно чужому человеку со своей нуждой? Неопикуемой, позорной и постыдной? Когда пришел следующий паром, Имме бродила на берегу, на котором расположились купцы, изнемогая от голода, страха и стыда. Молодой купец, новенький в Тотгендаме, пытался заговорить с ней. Она отвечала односложно и нехотя.

– Андреас с тобой работал? – тихо спросил купец.

Глаза Имме вспыхнули.

– Вы... – жалко пробормотала она.

Мужчина усмехнулся.

– Пойдем, – сказал он. – Я тебе и прошлый заказ и привез, и кое-чего нового поднабрал. Как же ты не померла тут с голоду, бедная, – добавил он сочувственно.

Воспоминание смягчило Имме.

Однако ничто не могло смягчить людей, сидевших на широких скамьях в главном зале ратуши. Следы маленьких, но очень острых зубов пятнали их лица и руки. А уж сколько укусов наверняка было стыдливо прикрыто одеждой или прическами! Дети совсем отбились от рук. Школьные учителя попали под удар первыми, но затем эти маленькие исчадия ада отказались отдавать долг уважения даже собственным родителям. Вместо мягких и свежих ручек, поп и животиков – у каждого родителя были свои излюбленные места – дети совали им под нос мерзких, противных крыс.

Жители Тотгендама были голодны, взвинчены и озлоблены.

– Вы-то, фрау Герда, и с младшенького долг уважения получали, и старшего почти до костей обгрызли, – неожиданно ясным голосом произнесла Ирена. – Я сама видела, как он весь в пластырях ходил, бедняжка. Но у нас-то все было по-другому. Отец, бывало, поучит – так ведь надо же, а то испортишь ребенка! – я до своей Лиззи ни разу не прикоснулась даже. Жалела ее, вот замуж-то выйдет... И что теперь? Получите, мама, крысу?

Фрау Ирена всхлипнула и тут же пронзительно закричала. Фрау Герда не справилась с искушением в виде аппетитного уха собеседницы, маячившего перед ней, и смачно вгрызлась в него. Фрау Ирена оттолкнула ее. Игнац, муж фрау Герды, сидевший рядом с ней, закатил Герде оплеуху. Голова фрау Герды дернулась. Но она даже не заметила, что муж ударил ее. Фрау Герда жадно урчала, пережевывая.

– Да ты совсем распустилась, – с возмущением сказал Игнац. – Извините ее, – обратился он к Ирене. – Я дома ее еще поучу. Просто мы все на грани.

Ирена спокойно обматывала ухо пластырем.

– Ничего, – сказала она. – Я думаю, фрау Герда, когда опомнится, сама предложит мне искупить свой отвратительный поступок.

Словно почувствовав взгляд Имме, Ирена обернулась. Взгляд ее скользнул по рукам молодой учительницы, крепко сжимавшим сумочку на коленях. Имме про себя порадовалась тому, что перед тем, как идти в ратушу на собрание, предусмотрительно нарисовала на запястьях россыпи маленьких красных пятнышек.

– О, и у вас то же самое. Ну да, вы же учительница... – устало-сочувственно сказала Ирена и отвернулась.

Имме перевела дух и посмотрела на трибуну. Скоро на ней должны были появиться отцы города. Они должны были успокоить горожан, объяснить им все и предложить решение проблемы.

Невнятный гул голосов заполнял собой зал, словно здесь устроили свой улей большие и смертельно опасные пчелы. Противно-сладкая вонь разлагающихся тел уверенно пробивалась из-под маски еловых, цветочных и медовых ароматов духов и дезодорантов. За высоким окном беспечно царил солнечный весенний день, яркий и неистовый.

Имме осторожно сунула руку в сумочку. Пальцы коснулись теплого меха. Имме погладила Клару. Та ткнулась ей носом в пальцы. Нос был холодный и влажный. Крыса сидела в сумочке на удивление тихо. Хотя в окружении такого количества еды Кларе тоже наверняка было сложно сдерживать свои инстинкты.

Вернувшись домой после уроков, Имме выкупала крысу с мылом. Имме смутно помнила по рассказам матери, что с животными, которых ты приносишь в дом (еще одна пленительная сказка детства: маленькое живое существо, которое ты можешь держать в своем доме), нужно поступать именно так. Затем укутала дрожащую Клару полотенцем. Насыпала

песку в картонную коробку, надпись на крышке которой сообщала: «Пряное рагу Освальда». Клара тем временем выбралась из полотенца, чихнула и с любопытством огляделась. Глаза ее были что вишни, которые буйно цвели в саду за домом, одичалые и выродившиеся. На камине Клара углядела отлакированную причудливую ветку. Эта ветка была частью семейного предания. Во время медового месяца Хуана с мужем пошли прогуляться по берегу и нашли ее, полузанесенную песком. Теперь Имме подозревала, что коряга просто воткнулась матери в спину в самый неподходящий момент. Хуана была женщиной веселой. Она забрала ветку с собой, а Бамбер вычистил, высушил и покрыл ее лаком. Бамбер предлагал назвать дочь Цвейг¹, но Хуана тогда заметила, что называть ребенка в честь найденной на песке коряги – это уже слишком.

Имме вернулась с кухни с маленьким кусочком колбаски и блюдцем воды. Клара уже сидела на развилке мертвых ветвей с таким видом, словно крысы рождены для того, чтобы жить в сухих отлакированных корягах. Имме рассмеялась и поставила угощение для гостыи на каминную полку. Клара спустилась, попила воды, с сомнением понюхала колбасу. Имме всплеснула руками – ее осенила новая идея. Имме открыла комод, достала из него лоскутки ткани и принялась шить гамачок для крысы. Работы была простой и приятной. Она отвлекала от мыслей о черном от гнева лице фрау Марты, о бездонных глазах Франка, о законе об утилизации женщин... Клара сидела на плече Имме и внимательно наблюдала за работой. Судя по запаху чеснока, исходившего от мордочки крысы, она все же снизошла до колбаски.

Когда на улице прокричали: «Общее собрание! Все в ратушу! Общее собрание!», Имме сшила уже три гамачка.

Она сняла крысу с плеча и хотела опробовать клетчатый гамачок, который только что собственноручно развесила на ветвях фамильной коряги. Клара с удивительной ловкостью вывернулась из кулака Имме и спряталась в сумочку.

– Клара, вот непослушная девчонка! – смеясь, воскликнула Имме. – Тебе нельзя со мной. Ну что ты там будешь делать?

Клара высунулась из сумочки, повела усами и очень осмысленно посмотрела на хозяйку.

– Да ну что ты, – неуверенно произнесла Имме. – До этого дело не дойдет.

Клара отчетливо пожала плечами. Имме невольно отметила мускулы, которые перекатились под покрытой белым мехом шкуркой. Сочтя дискуссию оконченной, крыса спряталась в сумку.

Теперь Имме была даже рада, что взяла крысу с собой. Прикосновение к холодному носу Клары успокоило ее.

Была ли Клара в некотором смысле *лучше шила*, Имме еще только предстояло узнать. Но что она твердо знала – с крысой она перестала чувствовать себя бесконечно одинокой. И это было уже хорошо.

По залу пронесся ропот – на трибуне появился докладчик, Марк Талик. Рядом с ним сидел кто-то неузнаваемый, с ног до головы покрытый несвежими бинтами. Марк Талик поднял руку. Шум стих.

– Жители Тотгендама! – звучным голосом начал Талик. – Страшная беда обрушилась на наш город. Кто виноват и что делать – вот вопросы, которые каждый из нас задает себе в это непростое время. Мы, те, кому вы доверили управлять нашим городом, не обещаем вам простых решений и легких ответов. Но некоторые из них мы уже нашли. О причинах санитарных проблем, захлестнувших наш родной Тотгендам, вам расскажет мой сын, Генрих Талик.

Неприятный холодок пробежал по спине Имме. Забинтованный мужчина поднялся.

¹ Ветвь в смысле «отпрыск» (нем.).

– Я знаю, что случилось, – проговорил Генрих.

Голос его сквозь бинты звучал глухо, но внятно.

– Крысы пришли с проклятого луга... Я был там, когда... И я видел ведьму!

Гул прокатился по залу.

– Она плясала там, в развалинах проклятого капища! – страстно продолжал Генрих, и голос его перекрыл шум. – И выкрикивала свои мерзкие заклинания! И они пришли!

Имме поднялась со своего места, радуясь, что села на краю скамьи. Боковой коридор, ограниченный колоннами, вел к выходу из ратуши. Имме направилась к колоннам, крепко сжимая в руках сумочку.

– Кто она? – крикнул пастор Люгнер, и его низкий голос вибрировал от гнева.

Его поддержали и остальные:

– Кто – ведьма? Назови ее имя! Имя!

– Вот она! – крикнул Генрих.

Имме показалось, что палец Генриха ткнулся ей прямо в спину. Ратуша взорвалась ревом. Имме поняла, что ей не добраться до конца коридора. Она прижалась спиной к колонне. Повернулась лицом к обезумевшим людям, что бежали на нее, роняя скамьи. Подняла сумочку, чтобы защитить шею.

Из сумочки показалась огромная пасть – крыса была прямо перед глазами Имме, и из-за этого казалась не маленьким зверьком, а каким-то древним чудовищем, что ели слонов на завтрак. Вот промелькнули огромные длинные, острые зубы. Затем появились налитые кровью глаза Клары. Взбугрились мышцы на плечах крысы.

Перед Имме закружились трясущийся от нетерпения пастор Люгнер, хищно скалившаяся фрау Герда, белая от ярости Ирена, суровый Клаас, староста работников карьера...

И над всем этим, в ослепительном весеннем свете, царило забинтованное лицо Генриха. Глаза его пылали.

Он наслаждался.

Издали Тотгендам выглядел точь-в-точь как тот город на обложке книги, которую в детстве читала Гийому мать. В том, сказочном городе, правда, жили не люди, а демоны разных кланов, гигантские лягушки-оборотни, личи и несколько тварей, не имевших лица. И демоны всегда побеждали своих противников, превосходя их в коварстве, жестокости, мудрости и ловкости. Гийом усмехнулся, вспомнив об этом. Жизнь была совсем не похожа на детские сказки. Она была непредсказуемее, но и намного интереснее.

Вблизи Тотгендам оказался уютным и чистеньким. Судя по характерному запаху, улицы здесь мыли с мылом. И они были пустынные. Город выглядел покинутым. Гийом толкал перед собой на мятый жестяной бидон на колесиках. Их дребезжание по почти стерильной брусчатке дробным эхом разносилось по узким улочкам. Гийом с любопытством рассматривал рекламные вывески на стенах;

«Наши кремы – вечная молодость вашей кожи»;

«Красота – это ухоженность» — над дверью косметического салона, ниже обещалось *«избавление от первых признаков увядания и чистота кожи, возвращение упругости и гладкости, гарантия низких цен, возможен кредит. Не экономь на красоте!»;*

«Свежесть дыхания двадцать четыре часа. Жевательная резинка от Бейры»;

«Пахни, как Настоящий Мужчина»;

«Похудеть за неделю – только у нас вытяжка из горных целебных корней кис-кис».

Со всех вывесок улыбались красотки, находившиеся на последней стадии истощения. Они до такой степени не экономили на красоте, что на еду у них денег уже не оставалось. Впрочем, призывы умерить свой аппетит также обрушивались на Гийома со всех сторон. Он заметил по текстам, что их адресатом были только женщины. Зная особенности диеты

взрослого населения Тотгендама, Гийом понимал, что почти все здесь живут впроголодь. Бойцов в городе хватило бы на полноценную бригаду, а для того, чтобы даже взвод живых мертвецов хотя бы перестал яростно рычать и отгрызать друг другу уши и пальцы, требовался город размером с половину Тотгендама. Сытыми и благостными Гийом видел слуг Короля Льда за всю войну только один раз – после штурма самого крупного города людей. Но, как точно знал Гийом, аппетиты мертвых женщин ничуть не уступали мужским. Раньше бы он удивился тому, что призывы потуже затянуть пояса обращены только к женщинам. Однако он успел хорошо изучить людей за последние пятьсот лет.

Гийом почувствовал, что он на улице не один. В тени рекламной растяжки стоял старик, прислонившись к воротам во двор, и курил. Гийом поглядел на него с большим интересом. Этот человек был, несомненно, очень стар. Кожа его стала серой, как пергамент, и складок кожи на шее не постеснялся бы и крокодил. Но он был живым – *полностью* живым.

Старик тихо и вкрадчиво спросил:

– Желаете девочку, господин? Нежненькая, сладенькая...

В этот момент под аркой Гийом заметил невысокую фигурку в темном плаще. По знаку сутенера девушка распахнула плащ. Ее худое полудетское тело не изменилось с тех пор, когда Гийом видел ее в последний раз. Но узнал он ее по волосам – роскошной гриве рыжих кудрявых волос, что спадали до лопаток.

– Нет, – сказал Гийом. – Господин желает знать, где все.

– В ратуше, – ответил старик.

Он сделал замысловатый зигзаг рукой, долженствующий, видимо, указать направление к ратуше.

– С утра орут и провопят еще до вечера, покуда не охрипнут. Вам некуда торопиться, господин.

Девушка в арке призывно качнула обнаженными бедрами.

– Свежая, как утренний ветер, – добавил зоркий старик.

Гийом перевел на него насмешливый взгляд и спросил:

– А чего орут-то в ратуше?

– Санитарные проблемы, – сдержанно ответил старик.

Гийом снова посмотрел на девушку. Ее груди, маленькие, которым не суждено было сформироваться до конца, торчали подобно двум кулакам, которым невесть почему вздумалось вырасти именно здесь.

– Пальмовое масло, натровый щелок и самая капелька Кипящего Льда? – спросил Гийом.

Старик побледнел.

– Не знаю, господин, – сказал он очень медленно и так осторожно подбирая слова, словно они были хрустальными шарами, которыми он жонглировал. – Она мне такая досталась по наследству от моего отца, а ему – от его отца. Я только разбудил ее, когда... Кто знает, чем пользовались древние колдуны? Она всегда была такая.

– Не всегда, – сказал Гийом. – И ты не всегда был таким.

– Великий Шабгни, – растерянно пробормотал старик.

– Вот именно. Как тебя зовут?

– Хардин.

Гийом покачал головой:

– Великое имя.

Старик втянул голову в плечи. Гийом не сказал: «... и ты позоришь его», но окончание фразы ясно читалось в его голосе.

– Ты ведь последний некромант в Тотгендаме? – осведомился Гийом. – Вот уже десять лет, как торгуешь прелестями этой мумии. Почему ты изменил своему ремеслу?

– Шестнадцать лет, господин, – словно во сне, поправил Хардин.

В темных глазах Гийома на миг отразилось нечто, чего старик не хотел бы видеть никогда. Он шумно вздохнул.

– Даже так? Шестнадцать? – переспросил Гийом. – Так в чем же дело?

– Войди в мой дом, господин, – сказал Хардин. – Я не могу отвечать тебе на улице.

Гийом обвел пустую улицу преувеличенно внимательным взглядом. Она постепенно раскалялась под лучами не по-весеннему жаркого солнца. Девушка, ждавшая клиентов в тени арки, исчезла как серый призрак.

– Прощу тебя, великий, – добавил Хардин, последний некромант Тотгендама.

* * *

Бидон Гийома врезался прямо под колени пастору Люгнеру, и он упал.

– Куда ты прешь, идиот! – заорал пастор.

Люгнер был крайне возмущен – не оттого, что упал, а потому, что Гийом вырвал его из кучи кричащих людей, которые явно занимались (или собирались заняться) чем-то очень интересным. Гийом даже знал чем.

Они собирались перекусить.

– Да ты еще с бидоном! – Люгнер задохнулся от ярости. – Кто ты такой?

– Я крысолов, – ответил Гийом.

Он произнес эти слова негромко, но все пространство ратуши заполнилось ими. Так раскаленная капля стекла мгновенно наполняет уготованную ей форму. Люди, стоявшие ближе к Гийому, замолчали и обернулись, не заметив сами, что раздвигаются, давая путь страннику с бидоном. Одежда его, хоть и добротная, была основательно поношена. Но кожаный ремень, пересекавший грудь, был крепким, и крупные капли бирюзы украшали его. Странник не променял драгоценности на мясо или новый плащ.

Позабывтая Имме незаметной тенью проскользнула по коридору, добралась до ниши в стене, где когда-то стояла статуя основателя города, и притаилась там. Клара в ее руках дрожала. Ярость, которой не дали вырваться наружу, сотрясала это маленькое тело. Или страх? Или Клара тоже знала, кто сейчас идет между людьми? Колесики бидона гремели. Люди смотрели на богато и мрачно изукрашенный чехол за спиной Гийома. Там вполне мог поместиться небольшой меч.

Но все знали, что там находится на самом деле.

Когда Гийом остановился у трибуны, в ратуше установилась такая тишина, что муха, если бы она здесь пролетела, была бы слышна. Но в Тотгендаме давно не водилось мух.

Судя по лицу Марка Талика, неприветливо глядящего на гостя, он эту сказку тоже слышал.

– Крысолов, – повторил Марк Талик и усмехнулся. – И сколько же ты хочешь за свою работу?

Гийом молча указал на свой бидон.

– Бидон черножизни? – недоверчиво переспросил Марк. – Что же ты собираешься с нею делать, крысолов? Купаться?

Он вопросительно всплеснул руками и задел длинные, напудренные локоны своего парика. Парик чуть съехал в сторону. Гийом, стоявший близко, видел, что парик помогла соскользнуть с головы чья-то забинтованная рука. Но вряд ли это видел кто-то еще. Парик сполз на самую макушку, обнажая голову бургомистра. Марк все еще не чувствовал этого. Как и не чувствовал, что среди полусгнивших остатков волос безмятежно копошатся белые черви. Но в этот миг все горожане Тотгендама увидели, что череп их бургомистра прогнил и черви поедают его мозг. Горожане, не очень-то мирные и в обычное время – а ведь последние

два дня они жестоко голодали. Горожане, которые совсем уже собрались закусить отвратительной ведьмой, но добыча ускользнула у них прямо из лап. С Имме не успели даже платье стащить, не смогли урвать ни кусочка из этого вкусного свежего тела.

– Или обливаться, может быть? – насмешливо продолжал Марк Талик.

Он был опытным политиком, и если бы наглость бродячего крысолова не удивила бы его сильно, то он заметил бы смертельно опасное пламя, стремительно разгоравшееся в глазах его избирателей. Услышал бы, как изменилась тишина, утратила хрупкость стекла и стала густой и вязкой, как кровь.

– Мертвец! – истошно завопила фрау Ирена. – Нами правит мертвец!

Люди кинулись к трибуне, взобрались на нее. Что-то затрещало. Гийом вцепился в свой бидон, чтобы его не затоптали сгоряча.

Где-то вдалеке хлопнула дверь. Гийом улыбнулся: «Шустрая девочка. И сообразительная». Ратушу покинула не только Имме. Гибкая фигурка, слишком маленькая для того, чтобы принадлежать взрослому, проскользнула с верхней галереи к черному выходу.

На щеку Гийома упал длинный хвост полусгнившей кишки. Он сбросил ее с себя и попал прямо в руки фрау Ирены.

– Благодарю вас, – сказала она вежливо. – Любая порядочная женщина должна в первую очередь заботиться о том, чтобы ее муж был сыт. Я передам ему от вас это мяско.

– Как вам будет угодно, – любезно ответил Гийом.

* * *

Последний некромант Тотгендама почуял запах гари слишком поздно. Хардин толкнул дверь в каморку Лили. Она оказалась заперта. Старик сделал нетерпеливый жест. С кончиков пальцев Хардина разлетелись черные и блестящие, словно лаковые, искры. Дверь исчезла. Наружу повалил густой вонючий дым. Некромант закашлялся, глаза защипало. В глубине дыма пылал оранжевый шар – словно отражение факела в ровной глади черной жизни.

– Все кончено! – кричал шар так пронзительно, что Хардина, несмотря на пышущий от живого факела жар, пробил озноб. – Он вернулся! Светлые не дают никакого шанса, но Шабгни дает только один! Только один!

Серый пепел осыпался на пол. Некромант все еще помнил свое дело и не дал огню перекинуться на стены своего бедного жилища. Мумифицированная плоть Лили горела так же охотно, как сырой гранит, и Хардин не понимал, как Лили умудрилась поджечь себя, пока в куче пепла на полу не увидел флакончик из расписного фарфора. Хардин и горько и бес- сильно выругался. Эта сумасшедшая вылила на себя весь их запас черной жизни, собранный по каплям за шестнадцать лет.

* * *

Генрих постучал по трибуне молоточком, призывая к порядку. Особой нужды в этом не было. От Марка Талика не осталось даже костей, и вместе с сытостью к горожанам вернулись рассудительность и спокойствие. На некоторое время. Но Генриху очень хотелось ощутить, как молоточек будет лежать в его руке, услышать звук удара кости о твердую подставку и увидеть, как все взгляды устремляются на него. На него, Генриха Талика. Нового главу Тотгендама выбрали практически единогласно. И сделали правильный выбор. Генрих давно считал, что ему уже как-то несолидно ходить в помощниках бургомистра. Но Марк Талик оставался глух к намекам честолобивого сына. Или уже ничего не соображал. Сложно сохранить стройность мыслей, когда вместе с ними в твоей голове шевелятся и черви.

– Ты получишь то, что просишь, – обратился Генрих к страннику.

– Мне нужен официальный договор, – ответил Гийом.

– Да пусть меня заберет отец наш Шабгни, если я нарушу договор и не отдам тебе обещанное! – воскликнул Генрих.

По ратуше пронесся одобрительный гул. Чужак скользнул оценивающим взглядом по забинтованному телу Генриха и ухмыльнулся. Отцу Шабгни было бы почти нечем поживиться в том случае, если бы Генрих нарушил свое слово.

– Нет, – сказал Гийом. – Этого недостаточно.

– Нет? – притворно удивился новый бургомистр Тотгендама. – Чем же ты хочешь, чтобы я поклялся, крысолов?

– Своими детьми и детьми всех горожан.

Генрих не стал пользоваться молоточком, чтобы снова призвать граждан к порядку – он успокаивающе поднял руку:

– Мы обязательно заплатим господину крысолову назначенную цену, так что волноваться не о чем. Пусть отец Шабгни заберет моих детей и всех детей Тотгендама, если мы не заплатим тебе ту цену, которую ты назначил.

– Когда приступить к работе? – осведомился Гийом.

– Позавчера! – воскликнул Генрих.

Гийом направился к дверям. На ходу он извлек из чехла флейту – легко и изящно, как бывалый воин достает из ножен меч. И свистнула она в воздухе почти так же. Но не из стали она была – а из черного дерева, отделанного серебром. И брызги, синие брызги мертвой бирюзы покрывали флейту почти по всей длине. Когда Гийом соединял две части флейты, его окликнула фрау Адальберта.

– Господин крысолов, а вы не можете сказать, откуда такая напасть? – спросила она. – Ведь вы же знаток в таких делах наверняка. Почему? Ведь крысы веками обходили наш город стороной!

Генриха перекосило от ненависти. Хорошо хоть, что под бинтами никто не видел его лица. Паскудная старуха пыталась спасти молоденькую учительницу, свою коллегу, хотя позиция властей в этом вопросе была обозначена донельзя четко! Но Генрих решительно подавил первый же бунт в зародыше.

– Я ведь уже сказал, что ведьма... – начал он.

Генрих уже заметил, что Имме в ратуше нет. Но ничего. Далеко уйти она не могла. Пастор Люгнер одобрительно закивал словам Генриха.

Однако крысолов, этот наглый бродяжка, перебил нового бургомистра Тотгендама.

– Я видел защитные столбы Тотгендама, фрау, – произнес Гийом. – Судя по их состоянию, необходимые обряды проводились последний раз лет двадцать назад.

Из той части зала, где сидели рабочие карьера, донеслись возмущенные крики. Поднялся их староста, могучий Клаас. Генрих втянул голову в плечи.

– Как это – двадцать лет назад? – прорычал Клаас. – Каждый год я отдаю бутыль с черножизнью городу для обрядов бесплатно, как заведено. И это немаленькая бутыль!

– А я все думал, откуда у семейки Таликов деньги на мумификацию! – выкрикнул из толпы какой-то гад.

Генрих скользнул по толпе взглядом, но не успел разглядеть подстрекателя, заскрипел зубами в бессильной ярости. И тут же отдернул себя. Сейчас ему предстояло доказать всему этому воняющему, полуразложившемуся быдлу, что у него в голове, в отличие от папочки, не только черви.

– Позвольте мне пройти, – вежливо произнес Гийом. – Я должен приступить к работе.

Клаас посторонился – он даже не заметил в запале, что перед ним кто-то стоит. Когда Гийом проходил мимо, Клааса обдало холодом, но он вспомнил об этом гораздо позже.

Гийом вышел на площадь, залитую солнцем, оставив за спиной разгорающийся скандал. Прищурился.

И приложил флейту к губам.

* * *

Имме кралась подворотнями. Торопливо перебежала улицы и пряталась в переулках. Как воришка, как враг. Не впервые она чувствовала себя полностью чужой в родном городе, не впервые – дичью, на которую идет изматывающая, бесконечная охота. Но впервые эта охота была столь откровенно объявлена. «Изменить, – думала она в бессильной ярости. – Да что я могу здесь изменить?» Имме остановилась передохнуть в небольшом дворике. Надо было собраться с силами для последнего решительного рывка. Оставалось только пересечь главную улицу, а там дворами – и вот он, дом.

Клара вдруг зашевелилась в сумке, заерзала. Имме спохватилась, что слишком сжимает крыску, и ослабила хватку. Клара тут же выпрыгнула из сумки на мостовую. На фоне красных квадратных брусков белая крыса казалась снежком, который упал на раскаленную сковородку и вот-вот растает.

– Куда ты... – воскликнула Имме.

И тут она наконец услышала мелодию. Печальную и нежную, разливающуюся над городом подобно заре. Имме даже прищурилась, словно от света. Но не было света – был только звук. Всепроникающий, меланхоличный и призывный. Не оставляющий выбора.

– Не ходи! – крикнула Имме.

Испугавшись звука собственного голоса, она прижала ладонь ко рту.

– Он погубит вас! Ты ведь не умеешь плавать... – добавила Имме значительно тише.

Клара поднялась на задние лапки и разразилась целой серией звуков – тут тебе и писк, и свист, и стрекотание, которому позавидовала бы и сорока. Имме внимательно слушала, пытаясь понять.

– Ну, ладно, – печально сказала она. – Может, и правда обойдется. Иди.

Клара тут же торопливо затрусила прочь. Туда, откуда доносилась пленительная мелодия. Звук стал громче. Имме поняла, что Гийом идет по главной улице.

– Клара! – не выдержала Имме.

Крыса остановилась, нетерпеливо оглянулась через плечо.

– Если что... Возвращайся... – тихо сказала Имме.

Клара утвердительно кивнула. И вдруг развернулась, подбежала к Имме, с разбегу запрыгнула на подол, вскарабкалась по рукаву на плечо. Сердце Имме сладко дрогнуло. Магия может многое, но не все. Нет всесильных чар; всегда остается еще и собственная воля. Клара ткнулась в щеку Имме холодным влажным носом. А затем спрыгнула на землю и умчалась торопливыми огромными прыжками, заноса задние ноги немного вбок. Имме вытерла слезы. Пора было двигаться дальше.

А музыка висела над городом, окутывала его невидимой, но прочной сетью, проникала в самое сердце, холодная и острая, как хорошо заточенный клинок. И там, на самом дне каждого сердца, просыпалось что-то. Поднималось и рвалось наружу, как росток клена через толщу мостовой, выложенной красными квадратными камнями.

* * *

Эрнест не смог ее удержать; только черный хвост мелькнул в дверях.

– Франк! – испуганно закричал он. – Франк!

Брат не откликнулся. Эрнест покинул комнату, прошел коридором, заглядывая во все комнаты в поисках брата. Остановился на лестнице в растерянности. Он заметил, что потайная дверь в подвал открыта и там мелькает свет. «Грабители, – спокойно, как всегда, подумал мальчик. – Они знают, что никого взрослых сейчас дома нет». Эрнест огляделся. Взял стоявшую у стены прогулочную трость дедушки – хорошую, стальную трость с острым концом и набалдашником в виде головы какого-то зверя. Мальчик бесшумно спустился в подвал. Эрнест хотел уже замахнуться, но тут человек поднялся, бросил пригоршню монет из сундука в раскрытый мешок, стоявший рядом. Эрнест увидел его лицо.

– Франк! – воскликнул он. – Что ты де...

Но тут мысль сменилась другой, более важной.

– Франк, наши крысы ушли!

– Я слышу, – процедил сквозь зубы брат.

Музыка, мрачная и болезненная, была слышна даже здесь, в подвале. Толстые стены дома оказались не в силах заглушить ее.

– Что же нам теперь делать? – спросил Эрнест растерянно.

– А что теперь будут делать *они*? – спросил Франк. – Они ведь уже два дня не ели, так ведь?

Лицо Эрнеста исказил ужас. Франк бросил в сумку еще пригоршню монет.

– Крысы вернутся, – сказал он успокаивающе. – Он ведь тоже знает эту сказку. Да и бидон черножизни они ему не дадут.

Франк усмехнулся так, как усмеваются люди, знающие какую-то неприятную тайну, и это знание забавляет их.

– Мы просто подождем на другом берегу, – продолжал он почти ласково. – Пока все не закончится. И пока мы будем ждать, нам будет нужно что-то есть, – заключил он.

Эрнест прислонил дедушкину трость к стене и принялся помогать брату. В голове его крутилась какая-то смутная мысль.

– А мы будем там ждать одни? – спросил он, опуская в сумку тяжелый серебряный кубок.

– Да, – сказал Франк и отправил вдогонку кубку роскошное золотое ожерелье.

– Но ведь мы еще маленькие. Не очень хорошо соображаем, – задумчиво продолжал Эрнест.

– Это так, – легко согласился Франк, бросая в сумку плотно набитый мешочек. – Но в этом городе нет ни единого взрослого, которому мы могли бы доверять.

Эрнест, оставив монеты, молча посмотрел на него. Золотые кругляши протекали меж его пальчиков.

Иногда братья понимали мысли друг друга, невысказанные вслух.

– А ведь ты прав, малыш, – задумчиво произнес Франк. – Как я мог забыть!

* * *

Навстречу Имме со ступенек ее дома поднялась какая-то фигура. Имме чуть не бросилась прочь, ломая кусты. Фигура откинула с лица капюшон, и Имме узнала Серени, свою подругу, владелицу престижного косметического салона.

– Привет, – произнесла Серени. – Я вот что думаю – уходить надо.

Имме только кивнула.

– Ты поведешь нас, – сказала Серени.

– Нас? – переспросила ошарашенная Имме. – Поведу?

– Твоя мать была оттуда, – заметила Серени. – Ты единственная, кто хоть что-то знает о том, какова жизнь *там*. Мы соберемся – все, кто еще цел, – и уйдем отсюда. Теперь, когда крыс нет, они вспомнят о том законе, что недавно приняли.

Имме вздрогнула:

– Закон об утилизации женщин...

Она совсем и забыла об этой чудовищной выдумке магистрата.

– Не так уж много я и знаю о жизни на той стороне, – сказала Имме тихо.

– Да, но мы вообще ничего не знаем, – нетерпеливо мотнула головой Серени.

Ее светлые кудри взметнулись непокорной волной. Имме вспомнился кораблик в прическе фрау Герды. К горлу подступила тошнота. Имме все еще колебалась.

– Когда они отдадут этому музыканту бидон черножизни, им придется чем-то пополнить карьер, – с нажимом произнесла Серени.

– Но как... как мы соберемся... Как ты узнаешь, кто...

Серени улыбнулась, сверкнув великолепными зубами.

– Я знаю всех, кто ходит ко мне в салон, – сказала она. – И я знаю, кто ко мне *не ходит*, верно? Одна хорошая рекламная акция... Призыв, составленный с умом...

– Проходи, – сказала Имме. – Будем составлять его вместе, твой рекламный призыв.

Зашуршали кусты. Обе женщины резко повернулись.

– Я тоже хорошо умею придумывать, – сказал Франк.

В одной руке он нес сумку, очень тяжелую, судя по тому, как она оттягивала ему руку. Другой он держал за руку младшего брата.

– Вы же не оставите нас с ними, фройляйн Имме? – спросил Эрнест. – Вы ведь единственная, кто никогда...

Франк смотрел на Имме в упор. Его темные глаза по-прежнему ничего не выражали.

Имме махнула рукой.

– Проходите, – сказала она и открыла дверь.

Они зашли. Крысы, мертвецы и волшебная музыка остались снаружи.

3

С толикой мрачной гордости Гийом отметил, что скорость регенерации оставалась по-прежнему высокой – не прошло и трех часов с момента заключения сделки, а Генрих, стоявший за трибуной, уже снял повязку с лица и рук. И всего-то понадобилось ему для этого один раз плотно перекусить.

– Как вы быстро управились! – сказал Генрих. – Сразу видно профессионала!

Главный зал ратуши опустел. Звуки голоса нового бургомистра Тотгендама перекатывались по нему, как кости в погремушке шамана. Отскакивали от каменных лиц стражников и пятерки избранных – малого совета города.

– Позвольте взглянуть на ваш... рабочий инструмент, – сказал Генрих, протягивая руку.

Гийом подал ему флейту. Генрих со смесью страха и любопытства осмотрел ее.

– Изумительный инструмент, – сказал он. – Сам отец Шабгни не отказался бы сыграть на таком, а?

Гийом усмехнулся и кивнул.

Генрих поднял флейту к лицу, словно чтобы запомнить ее навсегда, а затем резко опустил и сломал об колено. Это далось ему с усилием – лицо даже побагровело от натуги. Раздался громкий хруст. Пришел черед Генриха, усмехаясь, посмотреть на Гийома. Наверное, новый бургомистр Тотгендама хотел, чтобы в темных глазах крысолова что-нибудь отразилось. Страх, например. Или чтобы тот выдавил из себя улыбку, показывая, что понял шутку. Однако в глазах Гийома не отразилось ничего. Словно не единственный источник пропитания бродяги, не дорогую волшебную флейту сломал сейчас Генрих, а гнилую камышину.

– Не держите нас за дураков, господин крысолов, – сказал Генрих, бросая обломки на трибуну. – Эту сказку мы все читали.

И добавил, возвысив голос:

– Выдайте господину крысолову плату за его труд!

Откуда-то вынырнул служитель в сером. В руках у него был поднос. На подносе стоял такой крохотный фарфоровый флакончик, что Гийом его даже не сразу заметил. Служитель водрузил поднос на трибуну и удалился. Гийом перевел взгляд на свой бидон, потом снова на флакон, одиноко высившийся по центру огромного подноса.

– Что это? – спросил Гийом.

– Налоги, господин крысолов, – все еще улыбаясь, но уже неуверенно ответил Генрих. – Они у нас очень высоки. Особенно для не-граждан Тотгендама.

– Ну, ясно, – сказал Гийом.

Он повернулся, чтобы покинуть ратушу.

– Э, нет, – возвысил голос Генрих. – Вы получите свою оплату, хотите вы этого или нет. С Шабгни шуток не шутят. Стража, вручите господину крысолову его честно заработанный флакончик.

Лязгнуло железо – стражники в своих углах зашевелились, чтобы остановить дерзкого крысолова.

Гийом усмехнулся и сгреб флакончик с подноса.

– Не думаю, что это помешает Шабгни получить то, что ему причитается, – заметил он с жуткой, самоубийственной веселостью. – Боги – они такие.

Генриха пробрал озноб при этих словах Гийома. Бургомистр был так напуган и сбит с толку, что даже не подумал о том, что за подобную неуместную шутку наглый бродяга должен быть наказан.

– Вы не хотите поблагодарить нас за щедрость? – спросил Генрих. – Ведь целый бидон черной жизни, как-никак. Хочешь – купайся, хочешь, обливайся.

Темные, как гладко отполированный агат, глаза Гийома остановились на нем.

– Благодарю вас, – сказал Гийом вежливо. – Это хорошо, что вы не верите в сказки.

Генрих проводил взглядом его крепкую фигуру. Словно бы ледяная ладонь зажала рот новому бургомистру, не давая произнести ни слова, пока не хлопнула, закрываясь за гостем, дверь ратуши.

* * *

Не успел Гийом сойти со ступенек ратуши, как его окликнули:

– Господин крысолов! Господин крысолов!

Гийом обернулся и увидел огромного, как медведь, мужчину. И узнал его. Этот мужчина возмутился тем, что отдавал флягу черножизни каждый год для обрядов, которые не проводились. Староста рабочих карьера. Клаас, кажется.

Клаас протянул Гийому увесистую флягу в кожаном чехле.

– Не гневайтесь, господин маг, – торопливым шепотом, так ему не идущим, произнес Клаас. – Они такие проходимцы, с мертвеца парную вырезку сделают. Если вы хотели действительно получить бидон черножизни, надо было цистерну просить, – доверительно добавил он.

– А ты дал бы мне? – спросил Гийом. – Цистерну черножизни?

Клаас отшатнулся.

– Вы и это знаете... – пробормотал он, бледнея.

И тут он вспомнил, как его обдало холодом, когда Гийом проходил мимо.

– Вы... – произнес он, да и осекся на полуслове.

Гийом задумчиво рассматривал флягу в его руках.

– Это была другая сказка! – вдруг исступленным шепотом воскликнул Клаас. – Великий Шабгни...

– Это – не сказка, – возразил тот. – Мастер Клаас, ты отдаешь мне последнее, чтобы я оставил вам ваших детей? Вы отдаете мне все, что можете дать?

Клаас поежился. Он не знал этой старинной формулы. Но ее власть не зависела от того, знаком с ней человек или нет.

– Да, великий, последнее, – твердо сказал он. – Но я отдаю тебе последний флакон с черножизнью в этом городе совсем за другое. У меня к тебе просьба.

Гийома было трудно удивить, но Клаасу это удалось.

– Я слушаю.

– Сделай, что собирался, – горячо ответил Клаас. – Уведи детей из Тотгендама. Прямо сейчас. Только не в реку, – добавил он.

– А куда же?

– Куда угодно, где они будут в безопасности, – сказал Клаас.

Гийом еще раз посмотрел на флягу в руках собеседника.

– Извини меня, мастер Клаас, – произнес он медленно. – Я не могу этого сделать. Я получил свою оплату, и я ухожу.

Он принялся спускаться по ступенькам, оставив озадаченного и разгневанного старосту у себя за спиной.

– Ты покидаешь нас! – выкрикнул Клаас. – Как тогда! Как всегда, когда ты нам так нужен!

Гийом опустил голову и чуть ссутулился от этого крика. Ужас холодной змеей проскользнул в сердце старосты. Гийом обернулся через плечо. Клаас стойко выдержал его взгляд, хотя мало кому из людей хватало сил не отвести глаз под взглядом разъяренного демона.

– Однажды я дал вам хлеб, – сказал Гийом. – И вы немедленно потребовали у меня мяса. Следующим вы потребовали бы, чтобы я пережевывал его для вас.

И тогда я дал вам зубы.

* * *

После ухода крысолова в зале царила вязкая, как застарелый гной, тишина. Генрих постучал молоточком по трибуне. Он бы ни за что не признался, что делает это только для того, чтобы услышать хоть какой-нибудь звук. И стук молотка рассеял наваждение. Члены малого совета зашевелились. Зашуршала шелковая мантия пастора Люгнера. Скрипнул стул под грузным телом Игнаца, почетного члена совета.

– А теперь давайте рассмотрим закон «О пособниках крыс», – произнес Генрих.

Он озадаченно посмотрел на обломки гнилой камышины, лежащие на трибуне, и сделал знак, подзывая слугу.

– Выкиньте этот мусор. Итак, начнем...

* * *

Пора было двигаться дальше – беглецы хотели покинуть остров до наступления темноты. Мужчины собирали мусор, который всегда остается на любом, даже самом кратковременном привале. Когда между деревьев замелькали яркие плащи, Хардин как раз решил убрать остатки хлеба в сумку. По тропинке шли женщины и дети Тотгендама. Они вот-вот должны были выйти на опушку, где мужчины решили сделать свой последний привал на родной земле. Хардин замер.

– Мама! А вот и папа там! – раздался звонкий голосок Лиззи.

Над опушкой разлилась звенящая, как туго натянутая нить, тишина.

Хардин знал, что думает Имме, шедшая впереди своего маленького отряда – так же отчетливо, как если бы эти мысли крутились в его собственной голове, и магия была здесь ни при чем.

«Они нас выследили... Это погоня... К бою!», – мелькало в голове Имме.

Мужчины по настоянию Клааса, кое-что знавшего о жизни на том берегу, прихватили с собой топоры и молоты. Даже пара мечей имелась у людей в отряде Хардина. Впрочем, старый некромант понимал, что это их не спасет, хотя женщины не взяли с собой никакого оружия. Оно всегда было при них. Женщинам Тотгендама с рождения внушалось, что они слабее мужчин. Женщина, что пускает свои клыки в ход для нападения либо защиты, лишается чарующей магии женственности. Но Хардин читал старые летописи и знал, что в бою женщины даже страшнее мужчин. Мужчинам с детства объясняют, что драка имеет свои правила, которым необходимо следовать. Женщины же ничего не знают об этих правилах и дерутся – тут перед глазами Хардина встал, словно наяву, лист манускрипта – *«с яростью и беспощадностью, в которых превосходят даже демонов»*.

Даже демонов.

Единственный шанс людей Тотгендама висел на тоненьком волоске. Еще мгновение – и последние люди, имевшие шанс выжить, поубивали бы друг друга.

Хардин выпрямился.

– А вот и девочки, – как можно благодушнее произнес он. – А я говорил, что в Тотгендаме есть мудрые женщины!

Он сурово глянул на мужчин, как будто те возражали. Те благоразумно молчали, хотя ничего подобного некромант им не говорил. Женщины успели разглядеть хорошо знакомые

каждой коробочки из фольги в руках Клааса и яркие картонные упаковки, которые Ханс не успел отправить в костер...

– Консервы мы уже поели, хе-хе, – сказал Хардин. – Не желаете ли хлеба, милые дамы?

Он протянул оставшиеся полкаравая на вытянутых руках. Бешенство безысходности в глазах женщин сменилось любопытством.

«Как хорошо, что я не успел его убрать», – подумал Хардин.

* * *

Имме узнала ковригу. Она отламывала от нее три дня назад. Немного заветрившаяся, почерствевшая, но несомненно – именно та же самая.

Тем временем любопытство в остальных членах ее маленького отряда преодолело страх. Женщины осознали, что мужчины оказались здесь вовсе не в поисках непокорной добычи. Так же как и женщины, все мужчины, чьи тела не пятнала гниль, бежали из Тотген-дама. Имме буквально слышала, как вздох облегчения пронесся над ее маленьким отрядом. И удивления тоже – мужчин оказалось почти столько же, сколько и женщин.

– Берите хлеб, не бойтесь! – крикнула Имме. – Сам по себе он не ядовит!

Женщины заулыбались, подошли к мужчинам. Лиззи подбежала к отцу. Клаас взял ее на руки. Некромант отламывал по кусочку хлеба всем желающим. Вокруг него собралась небольшая толпа. И вот уже оба отряда смешались.

– Откуда у тебя хлеб, старик? – тихо спросила Имме.

– Оттуда же, откуда ты знаешь, что он не ядовит, – ответил Хардин.

Имме усмехнулась.

– А как ты узнал, кто...

– От Лили, – сказал Хардин. – Есть мужчины, которые не любят исполнять супружеский долг. Все эти крики, слезы, плохое настроение жены после того, как ты удовлетворишь свою страсть. Но и, как обычные мужчины, они не любят, когда жены высасывают их мозг. Вот они обычно чаще всего посещали мою Лили. Ей-то пища уже была не нужна.

Имме совсем с новым чувством обвела мужчин взглядом.

– И что, каждый из них... – почти с отвращением произнесла она.

– Не каждый, – возразил Хардин. – Друзья делятся друг с другом самыми опасными тайнами, не так ли?

Имме смягчилась.

– Но Лили ты с собой не взял, – все еще колеблясь, произнесла она.

– Лили покончила с собой, когда увидела, кто посетил наш город, – сообщил Хардин. В кустах послышался шорох. Из них выбежала белая крыса. Кто-то вскрикнул.

– Началось, – вполголоса произнесла Серени.

Франк засмеялся:

– А я так и знал, что он не утопил их, а просто отвел подальше от города!

Крыса лихо вскарабкалась на плач Имме и устроилась у нее на плече.

– Это моя Клара, – сказала Имме. – Она пойдет с нами. Нам пора двигаться дальше, если мы хотим успеть в убежище до заката!

И тут возникла неожиданная заминка.

– Мы хотели покинуть остров по косе, – сказал Клаас.

– Мы тоже, – не задумавшись ни на миг, ответила Имме, хотя первоначальный план женщин был иным. – Но зачем идти куда-то в ночь? Давайте все вместе переночуем в развалинах. А утром двинемся дальше. Ночью будет гроза, – добавила Имме.

Это чувствовали все. Предгрозовая духота давила на грудь, выжимала бисеринки пота, которые уже пятнали рубахи многих.

- Сможем ли мы найти укрытие на другом берегу? – добавил Хардин.
- Если мы останемся здесь, нас найдут, – сказал Ханс.
- Нет, – сказал Хардин.
- Он указал на крысу на плече Имме:
- В городе сейчас будет не до нас.
- Да, – сказала Имме. – К тому же Франк придумал одну штуку...
- Какую штуку? – недоверчиво спросил Ханс.

* * *

В прибрежном ивняке было сыро и холодно. Ярость Игнаца на проклятого крысолова медленно угасала по мере того, как Игнац зяб все сильнее.

«Но как он смог? – думал почетный член городского совета Тотгендама, сжимая в руках арбалет. – Ведь Генрих сломал его заколдованную дудку!»

И все-таки крысолов смог. Вернувшись домой с заседания совета, ни один из его членов не обнаружил дома детей. Торжественный обед примирения сорвался, и это также было одной из причин ярости Игнаца. И вот тут он зауважал Генриха. Тот сразу сообразил, что путь крысолова, какими кругами тот ни водил бы детей по острову, приведет его на причал. Во всех остальных местах берег был слишком обрывистым и неудобным даже для того, чтобы топиться. Не было никакого смысла гоняться за дудочником по всему острову. Надо было только сесть в засаде у причала и ждать. Эту задачу возложили на Игнаца и еще с десяток крепких мужчин. Пастор Люгнер торжественно благословил их. Когда ловцы приблизились к берегу, оказалось, что паром стоит у причала. Это было против всяких правил. Паром с товарами приходил раз в месяц, и сегодня был не день торговли.

Керт, один из участников облавы, хотел возмущенно окликнуть паромщика, чья сутулая фигура была отлично видна на фоне деревьев. Но Игнац ударил его по губам. Игнац разгадал отвратительный план крысолова. Не погубить детей Тотгендама хотел он, нет! Он хотел отвезти их на тот берег и отдать детишек в лапы чужаков, чтобы те воспитали их по-своему. Погубили великий дух традиций Тотгендама! Игнац сам не знал, как сдержался и не пристрелил паромщика тут же. Сколько ему заплатили, интересно, за его черное дело?

«Кто ему заплатил?» – прозвучал было голос здравого смысла. Но Игнац отмахнулся от него.

Игнац отвел свой отряд в заросли ив. Там они могли ждать, оставаясь незамеченными. Пусть крысолов путает следы, уходя от несуществующей погони. Раньше или позже он придет на берег – и приведет сюда детей.

Сумерки спустились с неба на серых крыльях. Тень от башни на другом берегу пролива легла на воду и медленно поползла к парому. Перевозчик не двигался. Может быть, он был терпелив, а может быть, заснул. Неподвижны оставались и охотники в засаде. Игнац смотрел, как удлиняется тень. Его охватило чувство, столь же непоколебимое, сколь и ни на чем не основанное, что дети появятся тогда, когда тень от башни чужаков коснется берега Тотгендама. словно бы дети должны были покинуть родной остров не на грязном старом плоту со скрипящим поворотным кругом, а пройти над водой по прозрачному мосту, сотканному из колышущихся теней.

Когда Игнац услышал приближающийся от леса громкий топот, он даже обрадовался. Он привстал, покрутил головой, разминая затекшую шею. Его примеру последовали и другие охотники. Судя по звукам, дети не особенно скрывались. И очень, очень спешили.

«Поздно», – с наслаждением подумал Игнац.

Он поднял арбалет, предусмотрительно заряженный заранее. Топот приближался. Кто-то из мужчин выстрелил, не дождавшись приказа командира.

– Не стрелять! – заорал Игнац, уже не заботясь о маскировке. – Это же наши дети! Стрелок повернулся к нему. Лицо его было искажено ужасом.

– Это не... – начал он.

И тут закричали все вокруг. Неудачливого стрелка опрокинуло серой волной. Мелькнули оскаленные пасти. Крысы! Они были очень маленькими, но их было слишком много. И они были очень голодны.

Игнац сам не помнил, как оказался на пароме. Серые и черные твари уже лезли вслед за ним.

– Шевелись! – крикнул Игнац и огрел паромщика арбалетом по спине.

Тот мягко осел, разваливаясь на куски. Сумка с камнями, заменявшая ему голову, упала на дощатый настил. Игнац с безумным видом смотрел на наспех сколоченную из двух реек крестовину, на сено, которым был набит плащ, чтобы придать фигуре объем, на герб Таликов на отвороте плаща.

«Предатель», – еще успел подумать Игнац, прежде чем невыносимая боль пожрала его.

* * *

Когда беглецы приблизились ко входу в брошенную башню, с земли поднялась высокая фигура. Сердце Имме радостно дрогнуло. Но Гийом носил черное, а тот, кто встретил беглецов у развалин, был весь в белом.

– Меня зовут Гейб, и я друг Гийома, – улыбаясь, сказал мужчина. – Он сейчас занят. Он послал меня помочь вам.

Имме подозрительно посмотрела на него. Слишком уж Гейб был... легким, добрым, словно светящимся. Лица, столь открытые и дружелюбные, были редкостью в Тотгендаме. Гейб сделал манящий жест рукой. Клара принялась спускаться по рукаву Имме – медленно, словно нехотя. Спрыгнув на землю, она подошла к Гейбу и обняла его сапоги. Затем оглянулась на Имме – и исчезла. Имме удивленно заморгала. Крысу словно всосало в сапог, она стала его частью. Небольшой бугорок на сапоге был еще виден в течение нескольких мгновений. А затем все разгладилось.

Хардин сохранил зоркость глаз, несмотря на возраст. Когда он увидел, какая судьба постигла крысу, он побледнел. А затем осторожно двинулся между людьми – так, чтобы сойти с тропинки и оказаться в высокой траве луга.

Имме снова посмотрела на Гейба. Тот улыбался, все так же спокойно и дружелюбно. И Имме тоже успокоилась.

Гейб тем временем скользнул внимательным взглядом по лицам женщин, детей и мужчин. Мимолетная досада омрачила его черты.

– В новую жизнь может войти чистый не только духом, но и телом, – сказал он. – Только тот, на чьем теле нет пятен гнили.

– Да, я знаю, – рассеянно ответила Имме, пытаясь обойти Гейба. – Мы собрали всех, кто еще не гниет.

Гейб мягко, но неуклонно заступил ей путь, не давая войти в башню. Имме посмотрела на него почти раздраженно.

– Но вы ведь поверили людям на слово? – почти сочувственно спросил он. – Вы ведь никого не проверяли, так?

– Что ты хочешь сказать? – вмешался Клаас.

Староста рабочих карьера шел сразу за Имме. Его тоже насторожило поведение незнакомца.

– Что среди нас есть кусаки? – добавил Клаас презрительно.

Гейб печально кивнул. Имме вздрогнула. словно ледяной ветерок промчался над людьми. Чувство единства, такое непривычное, мимолетное и хрупкое, исчезло. Женщины подозрительно уставились на мужчин, а те друг на друга.

– И кто же он? – внезапно охрипшим голосом произнесла Имме.

Гейб поднял руку и указал на Франка.

– Этого не может быть! Вы ошибаетесь! – воскликнула Имме. – Он держал у себя крысу. Он сам принес мне Клару!

– Может, фройляйн Имме, – ответил Гейб.

Имме вопросительно посмотрела на Франка. Тот кивнул. Вдох, словно шелест листвы с опадающего дерева, прошуршал между людьми.

– Яблочко от яблони... – презрительно скривившись, пробормотала Серени.

– Если бы не Франк, мы бы не дошли сюда, – резко оборвала ее Имме.

– Я думал, может, крыса выгрызет всю гниль, – пояснил Франк, глядя на Имме странно блестящими глазами.

«Да он сейчас заплачет», – с ужасом подумала Имме. Сдержанность, рассудительность и сообразительность Франка, которой позавидовал бы и взрослый, заставила ее забыть, что он всего лишь подросток, который в этом мае должен был пойти на выпускной бал.

– Пожалуйста, позаботьтесь об Эрнесте, фройляйн Имме, – продолжал Франк. – Я возвращаюсь в Тотгендам.

Он повернулся. Люди расступались перед ним. Имме в растерянности смотрела, как он уходит.

– Нет! – закричал Эрнест. – Не бросай меня!

Он бросился вслед за братом, вцепился в его руку и повис на нем.

– Эрнест, я гнию, – терпеливо произнес Франк. – Совсем скоро я стану таким, каким они. Ты же не хочешь, чтобы я кусал тебя?

Эрнест зарыдал и воскликнул:

– Хочу!

Франк отрицательно покачал головой:

– Но этого не хочу я...

Он потрепал брата по щеке.

– Слушайся фройляйн Имме, – повторил Франк.

Он осторожно снял с себя рыдающего брата.

– погоди, парень, – рассудительно сказал Клаас. – Не торопись. Может быть, это можно вылечить? С нами же маг. Что скажешь, Хардин?

Взоры всех обратились на некроманта. Тот обнаружился на самом краю тропинки. Имме бросилась в глаза напряженность его позы. словно он собирался незамеченным нырнуть в высокую траву, но не успел. Хардин смотрел на Гейба.

– Нет, – сипло произнес Хардин. – Это не лечится.

Гейб печально улыбнулся:

– Совершенно верно.

Имме почувствовала движение раньше, чем заметила его. Она непроизвольно отпрянула и увидела, как Гейб замахивается длинным блестящим мечом, который невесть откуда взялся в его руке. Он собирался зарубить Франка – и зарубить его в спину.

– Что вы делаете! – закричала Имме и схватила Гейба за руку.

Франк обернулся. Оттолкнул Эрнеста, который оказался между ним и Гейбом. Фрау Ирена подхватила мальчика. Франк с шумом втянул ноздрями воздух и сделал шаг вперед. В этот миг стало окончательно ясно, что Франк уже пускал свои зубы в ход, и не раз.

– Франк знает, где мы, – холодно возразил Гейб. – И он донесет на нас.

Он отодвинул Имме, словно куклу. И снова поднял меч.

Дальше все произошло очень быстро. Франк, не давая Гейбу размахнуться в полную силу, прыгнул на него. Сбил с ног и впился зубами в шею. Гейб закричал. Из шеи хлынул невыносимо яркий свет. Он плеснул обжигающей волной на лицо Франка, на его руки и грудь. Запахло паленым. Теперь закричал уже Франк – дико, нечеловечески. Лицо Гейба налилось нездоровой зеленью, над лужайкой разнеслась страшная вонь. Кусок черной гнили шлепнулся на траву со щеки, обнажив кость скулы. Гейб все-таки сбросил с себя Франка. Тот упал в траву, схватился руками за лицо и завыл. Гейб поднял меч.

Воздух рядом с ними задрожал, потемнел. Из пустоты проступил черный силуэт.

Гийом выбил меч из руки Гейба, заломил ему руку за спину. Имме, оцепенев, смотрела, как Гийом задирает руку Гейба – все выше и выше, к самой лопатке. Гейб жалко, отвратительно скулил.

– Ты что-то говорил о честной игре? – голосом, от которого Имме пробила крупная дрожь, спросил Гийом.

– В нем есть кровь демона! – возмущенно завопил Гейб. – Иначе он бы не смог!..

– Ты знал, что так может быть, – невозмутимо ответил Гийом.

Тяжелая горячая захлестнула лицо Имме, едва до нее дошел смысл этих слов. Она знала, что краснеет, безудержно и так явно, что этого не заметит только слепой. Но внимание всех уцелевших жителей Тотгендама было приковано к противостоянию двух великих, и никто не смотрел на нее. Кроме Хардина. Старый некромант улыбнулся Имме – так понимающе, так ободряюще – что она смогла перевести дух и снова гордо поднять голову.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.